

# РАСКОЛ

Книга огня

роман

Елена КРЮКОВА

г. Нижний Новгород

КРОВЬ ЕСТЬ ОГОНЬ

Фреска вторая  
(продолжение)

\* \* \*

(протопоп и Никон)

Толпа напирала, а он сначала сопротивлялся ей, а потом катился вместе с ней, толпа вспыхивала тысящей зрячих огней, толпа бешанствовала, усмиралась, взрывалась опять, другой такой толпы в целом мире не сыскать; он чуял течение в ней, внутри, крови, биение крови — спины, локти, руки, ноги и щёки горели жадно, ему становилось жарко, вот далёко, над затылками, шапками и лбами, он увидал на помосте человека в ризе; ево ударило вдоль всево тела синей молнией: Никон! — а потом ишо раз ударило: нет! обознался! — и потом в третий раз обожгло: кто это?! — и самому себе он показался не самим собой.

Я не тот, не тот, кто я есмь. Федот, да не тот. Рот выборматывал невероятные словеса — он таковых знать не знал. Всё ближе толпа подносила ево к помосту, слишком сильно сходному с Лобным местом. Ах, тут вот ведь и казни запросто творятся; он попытался зажать себе рот ладонью, да не вышло — не мог выпростать согнутую в локте руку и поднести к лицу; она была прижата к животу, к потрёпанной рясе плотным, чудовищным многолюдьем. Толпа, ты ведь великанский булыжник. Ты припечатываешь, давишь. Тебе важно, штобы сок брызнул. Плод тем и хорош, што сочен; убийство человека человеком уж тем оправдано, што убитый отдаст улетающему Мiру последний крик.

Вопль последний.

*От редакции.*

*Текст печатается в авторской редакции.*

*Орфография и пунктуация сохранены.*

*Выделения в тексте автора.*



В нём — вся музыка Мира подлунново; именно во крике, в отчаянии.

А — праздник? Разве толпа не может родить праздник?

И угоститься им, от пуза, от сердца, от души?

Вот уже слишком близко он подступил к помосту. Рассмотреть можно было шершавые грязные доски, побитые дождями. Человек, другой Никон, а в ризе всё такой же, какова и у Никона была, праздничной, снежно-сверкающей, — алмазные искры, цветной, радужный снег, глазам больно, а сердцу ищю больнее, — повел голову, соскочил зрачки, и глаза ево словно бы на миг ослепли, а потом опять прозрели: то таково иной, новый Никон узрел ево, иново протопопа.

Он глядел на Никона снизу вверх. Будто в небо. Человек, когда на человека снизу вывьс взирает, смотрит в самом деле не на человека, а на небо; и человек, на ково глядят, становится для зрящево небом, и тот, кто сверху наблюдает, зрит под собою крутящуюся землю.

Земля и небо. Небо и земля. Надобно было немедленно сделати што-нибудь, и он — крикнул.

Крик!

Птичий крик!

Человечий крик! Зверий рык!

А — Ангелы кричат?! А нежные Херувимы?! А... славнейшие без сравнения Серафимы...

— Никон! Не глаголай неправду! Ты же не враг себе!

Толпа катилась, не останавливалась. Всё ближе, теснее и безвозвратнее притискивала ево к помосту. Приговор, казнь, зрелище. Только почему не он, а Никон, Никон-то чужой стоит на помосте?! Никона будут казнить, а не ево?!

Толпа крутилась, ея водовороты и спирали вспучивались, голоса гудели и сшибались, и там, за помостом, за спиною другово Никона, он увидел странную, невозможную вещь: громадный железный ящик, а на нём, в виде кургузово сундука, железная пушка, и ствол торчит гусиной шеей; а снизу той громадины шевелятся железные гусеницы, они с лязгом и диким скрежетом наматываются на колёса, и огромный железный короб неуклонно и грозно движется, наплывает, разрезает надвое толпу, люди с криками разбегаются, толпа разваливается в стороны, раскалывается, как расколо-

лось и застыло Чермное море пред войском Моисеевым; он тарашился, не верил глазам своим, подумал про себя смятенно: я раб безумия моево... — а за великанским коробом на медленно, дико-хищно вращающихся гусеницах катилися ищю такие же короба, переваливались с боку на бок, яко жирные железные утки, яко раскормленные стальные хрюшки, и шли, и шли, гудели, надвигались, обещающая смерть, навевая Адовы сны, не уклониться, не укрыться, не вжаться в землю палым листом, не исчезнуть; только взмыт в небеса птицей... да полно, птица ли он? Стая ли птиц небесных сия крутящаяся непомерной бурей толпа?

Птицы небесные не сеют, не жнут, но сыты бываюут, вспомнил он родные крылатые слова, он за ними никогда не чюял боли и скорби, они чюдились ему полными радости, настоящим праздником Господним, Дванадесатым, одним из любимых; когда наступал Покров и на всей родной земле выпадал первый, нежный, тревожный октябрьский снег, он почему-то повторял те словеса про себя, а то и вышёптывал, и они тут же улетали, крылатые Ангелы, и следа не оставляли; и он дивился лёгкому дыханию Священного Писания, не понимал, как буквицы могут становиться биением сердца, а ево сбивчивые удары — летящими птицами; люди не птицы, твердил он себе, люди есть люди, их племя накрепко привязано к земле, — а куда же мы уйдём, канем пося смерти?.. в каковую невозвратную пелену?.. в каковые облачные, грозовые дебри?.. а железные сундуки всё катились, грохот разрывал уши и ту тончайшую смешную оболочку, коя одна и защищала смятенную душу; та оболочка, што она была?.. молитва?.. песня?.. клятва?.. признание в любви?.. я люблю тебя, человек, я люблю Тебя, Боже?.. не разобрать... вдохов-выдохов не различить...

Это на нево, на всех них надвигалось Время, и с ним не справиться было, ево надо было иль принимать, иль отвергать, закрывая глаза и отворачиваясь в молчании и презрени; человек, обладающий властью, собрал вокруг себя мастеров-кузнецов и приказал им выделать, выковать в диавольных кузнях те страшные короба; подневольные люди, послушные слуги, старательно и мрачно, ни словца не промолвив, ис-

полнили всё, што повелел владыка; и нет, не было объяснения, зачем, для чего идут по земле, давая всё живое, железные агелы, виверны, единороги и аспиды.

Человек и власть. Власть и человек. Неужто во будущих временах ждёт всё то же? Плыви, плыви, пловец, задыхайся, человек, в намокшем тулупе посреди быстрой холодной реки; сей час пойдёши ко дну, и никакая молитва тебя не спасёт; а што, кто спасёт? Тот, кто имеет власть?

Тот, кто плывет в лодье. Он протянет тебе весло. И по веслу, омоченному ледяною водой, ты вскарабкаешься, мокрый жук, на борт, уцепишься за качливое, ненадёжное древо, что колыхается посреди потока; вот видишь, чудо есть, а ты не верил в нево.

Смеялся над ним.

Над собою — смеялся!

...толпа крепко прижала ево к помосту, он стал задыхаться, иной Никон глядел на нево по-прежнему сверху вниз, но он, он потерял глазами Никоновы глаза, он в ужасе уставился на железные короба, што шли и шли и шли из-за кроваво окоёма; впору было читать Псалтырь, древяя музыка уже проснулась в нём, обняла ево, и толпа обняла, они обе, музыка и толпа, стискивали ево в смертных объятых; и тут он на миг вспомнил Настасью, жёнку ево, а потом сразу же — болярыню, несбывшуюся ево небесную жену, супругу ево в Духе Святом; и такую волной весёлого сумасшествия захлестнул ево ея образ, ея радостный, светлый лик! «Все мыслят таково, што вера во Господа — то печаль, повинение, скорбь безконечная, како на похоронах, како при могиле; а то ж веселие, праздник вечный! Да и Страшный Суд, отче, то праздник! Цветные костры на полнеба! Павлиньи сполохи на пол-Мира! Костер горит, пепел по ветру летит, а птица Феникс встаёт, встаёт! Буквицы, протопоп, ты ж мне сам руку с гусиным пером верно ставил на бумагу, штобы я с молитвою верны буквицы нарисовывала! О, отченька возлюбленный! Я так хочу быть свободна от земной жизни! Ты помолился ко Господу, штобы мне век фиал вина сапфирно-синево, небесново пить! Штобы век праздновати, на весь небосвод, свободу мою!»

Блаженная, она блаженная ево болярыня; и то главное. Как он мог забыть о самом главном? О

том, что в Мире живёт и выживает лишь юродивый Христа ради? А не сам ли он таковой был... Ежели бы вериги кто на нево тяжеленные накрутил, грудь, спину да живот чугунными цепями обмотал — он бы смиренно их носил; и там, на снежку слепящем, сгорбившись, то и дело лоб крестя, молча сидел, и жупел серный, горящий в голой руке, кривя страдальный лик, держал — а потом внезапно рот открывал и голос возвышал; да, да, он сызмальства мечтал именно так: полуголым, в отрешках, на снегу, и лицо закинуто к людям, и каждый людской лик — Солнце; а все Солнца катятся мимо; кто понаглей, тот и плюёт в нево; кто посередобольней, тот в ладонь ему монету, пирожок али горбушку суёт. А во Престольный Праздник — глядишь, и пряник печатный. На, пожуй! И жевал бы, и улыбался беззубо, и красной на морозе рукой благословлял мимохожий люд. Взять на себя непосильную ношу! И быть свободным! Ото всех; но не от Бога. Вся служба твоя юродская — Богу; все приношения твои и вознесения, все падения в придорожную грязь и все заоблачные упования — Богу. Он один управляет всем мощным хором бытия. Он... один...

А ты кто такой? Кто ты, кто ты, кто...

Чужой, незнамый Никон шагнул вперед. Железные бочонки на гусеницах, с длинными гусиными стальными шеями, надвинулись, заслонили солнце, снег и свет. Отец! Мать! Жизнь твоя! Зачем-то, за какою-то надобой ты был рождён. Штобы железные чёрные гусеницы — тебя раздавили?!

...он закинул голову выше, ишо выше — и в небесах увидал себя робёнком.

Робёнок шёл по облакам, бежал, останавливался, улыбался, сжимал кулачки, разжимал, бежал опять.

А толпа изменилась; всякий человек в ней, он мог хорошо рассмотреть, был одет не так, как они все пообвыкли, не в обычный тулуп али зипун, не в понёву и кичу, а в непонятные тряпицы, таковых он никогда и не видывал: и, однако, все кричали, шептали, гомонили и лопотали знакомо, не звучала речь чужеземца в толпе; колыхался народ, ровно синё море, аки волна на Волге али на Енисее в ветреный суровый, лютый день; и кричал, и плакал, и ревел, и воздыхал по-родному, и, может, иноземцу то



было против шерсти, ежели таковой в толпе и затесался; ах, юродивый Вакушка! И юродка жёнка твоя Настасья! И юродка истинная супруга твоя в Духе, Феодосья Прокопьевна! Нет конца-краю, нет предела юродству; благословенно оно; то тишайше, то громоподобно, и какое юродство лучше и чище, никто не скажет; принимай стезю; иди выше, выше, в гору; гляди горе; там — Солнце.

Он хорошо понимал, што во мгновение ока очутился в том времени, коего никто никогда не видел и в нём ишо не живал; а вот он тут, он зрит железные ящики, стальные короба, странные одежды, слышит родимую речь, а в ней там и аям вспыхивают, резкими рубинами и жгучими аметистами в ночной медной скани, никогда не слышанные им реченья; он хочет Бога спросить: Боже, а доколе я здесь буду пребывать?... навек я тут али на час?... пошто мне то наказанье?... али в чём я провинился пред Тобюю, мало и плохо молился, лениво паству наставлял?... да не предал я Тя, яко дрянь Иуда, ни словом ни делом, а поди ж ты, показал Ты мне Мирь изменённый, Мирь другой, и дик он глазу моему, и тягостен он дыханью моему и слуху моему; а люди, люди-то, Господи, ведь те же, всё те же...

И не успел он додумать эту думу, как из стальных гусиных шей вылетел огонь, и загремел гром, и небо дымом заволочло.

Он ишо успел увидати, как в густом дыму падают на грязный, притоптанный площадной снег люди, люди; как льётся кровь, крови оказалось нежданно много и щедро, она лилась отовсюду, будто взрезали острыми ножами бурдюки с вином али выбили ногами днища из безчисленных бочек; красное лилось, алое булькало и мерцало, озёра вспыхивали кармином, люди лицами падали в кровь, размазывали её по щекам, орали тяжко и протяжно. Увидал он и то, как чуждадельный, непонятный Никон, и лицом-то вроде Никон, а повадками — нет, не он, пошатнулся на пыталном помосте, хотел ухватиться хоть за што-нибудь ослабелыми руками, а вокруг зияла пустота, вспыхивали непонятные выкрики, снег гляделся грязною солью, и льющаяся кровь пахла солью и рыбой, и он подумал судорожно, смутно, почти напоследок: всё в мире солёно, всё горчит и тлеет, а Троица Единосушная, ведь её среди нас, грешных, нет, она над нами,

эх, был бы я Иоанн Златоустый, я б сей же час рот открыл усатый-брадатый, да и запел, заблажил на весь свет, да всё што хочешь завопил бы, хоть Великую Ектенью, хоть из Постной Триоди, хоть из Цветной, а ведь это же война, я же наблюдаю войну, да в Мире ином, да во времени чужом, вот сподобился, вот к чему привело моё юродство да верность, Господи, Единственному Тебе! Семя веры моя Ты умножил! И вот окунул мя в новую Смуту!

Откуда ни возьмись, на запруженную народом площадь выбежали скоморохи. Пушки, водруженные на железных коробах, выжидали минут-другую и опять палили. Люди падали, окровавленные. Крики заслоняли небо, втыкались в низко летящие, набрякшие снегом тучи. Скоморохи катались колесом, непотребно вставали на руки, галчино галдели, размазывали по щекам свекольный сок. Всех убивали, а они прыгали невредимы, как заговорённые. Он сощурился: корявые, бешаные скоморошья руки медленно, с натугой, выкатывали на площадь огромную, величиною чуть не с купецкую расшиву, чёрную бочку; старый кудлатый, серебрянобородый скоморох пнул её красным кровавым сафьянным сапогом; бочка разломилась, доски лепестками чёрной адовой нимфеи разошлись в стороны, и, будто на льду, на белом пруду площади, в окружении вопящей, умирающей зимней толпы из бочки на снег вывалилась немыслимой величины раковина. Перловица? Али заморская? Он глядел пристально: таковые вылавливали в далёких морях и привозили на Русь ганзейские купцы, торговали их на Макарьевской полоумной, многогласо кричащей ярманке. Ближе шагнул. С помоста, где стоял чужеродный Никон, валились наземь расстрелянные люди. Крики усиливались, копьями вонзались в низкий серый ковёр неба. В этакой перловице могли запросто челоуеки поместиться, како в кошёвке!

И поместились.

Он увидал их. Внутри великанской Раковины. Двух девушек. Нагих. Розовых на морозе телами. Они прикрывались от чужих взоров ладонями и локтями, сутулили спины, но никто, умирая, на красоту их и не взирал, кроме нево, изумлённово, да отчаянно хохочущих на ветру скоморохов. Скоморохи хлопали в ладоши, согреваясь, и глядя на них, от их смеха и

хлопков согревался и он. Толпа гибла под выстрелами. Огонь, крики и кровь, и больше ничево не пребывало в мире. Ни в прошлом, ни в будущем. Две голые девушки, юные совсем, жались друг к дружке на пронизывающем до костей ветру, сырость была их в щёки и рёбра, жёсткой серебряной мочалкой во снежной бане безжалостно тёрла им тонкие, тощие спины. Он шагнул ближе. Чюдо: он ищо не был застрелен. Всё, што он видал на земле, чему был свидетелем, всё умирало. Прекращало быть. С этим надобно было али смириться, али противу этово возстать; но как возстанеши против Бога, ведь Он положил предел жизни. А предел любви?

Почему человек ненавидит человека?

Почему люди убивают друг друга?

Он задал себе эти два простых вопроса, и тут же явился пред ним третий, Бог Троицу любит, да самый важный, самый пронзительный и кровавый: где же, где прошёл Великий Раскол? Между любовью и ненавистью. Между болью и радостью. Между надеждой и обречённостью. Между Миромъ и Миромъ! Да, человек жесток! Да, он зол и гадок! Но не настолько, штобы рубить свой Миръ, в коем он родился, возрос, созрел и достиг чувства Бога, пополам!

Надвое!

Он видел: девушки в Раковине тепло, нежно, отчаянно обнимают друг друга, ищут друг у друга защиты, прижимаются друг к другу, а между их телами, о нет, между душами их, тёплыми, солнечными, боящимися, дрожащими, стрекотными ли, синичьими, ищо живыми, мерцают, перекачивается и переливается, играет всеми огнями радуги, снеговыми, ледяными, сиреневыми вспышками — Жемчужина.

Ищо шаг. Ближе. Вот бы рядышком размотри. Он таковых великанских перлов не выдывал за целую жизнь; ни на Волге, ни на Оке привольной, ни на золотой Суре, где живёт Стерляжий Царь, ни на речушке Сундовике, близ села Григорова, где явился он на свет Божий; ни на берегах холодных рек сибирских; ни на Севере хвойном и вечно молчащем, а зачем ему язык, есть только ели, сосны и пихты, и снега, и торосы, и Белое, цвета варёной трески, ледяное море. Перл сиял, размером со спелую кедровую шишку, а может, с голову младенца; да то не

жемчуг, подумал он испуганно и отвёл глаза вбок, то, может статься, живой зверёк, в белый клубок свернулся да спит, колечком скручен, в шар оборотился, а белая шерсть сверкает радужно, вот я и обознался.

\* \* \*

(што суть война)

Я себе частенько говорю: ты ведь, Аввакуме, не герой, ты всево лишь протопоп, священник ты, и Богу служишь; герои, они другие, герои, они витязи во шлемах, в кольчугах, с копьями наперевес, на конях возсадают, в самую гущу битвы бросаются; воюют воины, они герои. А ты, кто такой ты? Вызови на бой ково хочешь, а потом уж и гундось проповеди, посла твою высокую, навечной гибели. Ведь только в бою герой становится запечатлен на облачной, поднебесной холстине, а потом над убийцами дух ево, што златая птица, вольно летит. А рядом со златым пером — чёрный вран. Ворон норовит глаза мертвеца, коими он на Миръ взирал, хищно выклевать; защитник земли нашей, ах, ежели бы не горел, не тонул, кровию не истекал живой!.. А я выжил. Убивали мя, а я — выжил! Землю нашу огнями волчьими пожгли вражины. А мы живы остались! Што есть война? Сшибаются люди лбами, бросаются кони в людскую гущу, гибнет округ всё живое, раскалывается земля надвое, а то и натрое, а то на множество кусков, како хлеб высохший, ломается. Раскол. Раскол. Сердце, звеня от ужаса, расколосось. Какую же любовь надобно иметь тебе, человеце, в сердчишке бедном твоём, штобы искупить твой грех! Кто первым меч обоюдоострый поднял и разрубил веру нашу и жизнь нашу? Неужели Никон? Никон, Никитка, малец отчаянный... я ведь с ним на санках, на салазках, живо скользящих, с горы робёнком катился... вот и он сей час предо мной, на мя глядит. А тут и Настасья моя у мя под ногами шарахается, а тут и болярыня моя из-за плеча моево появляется неслышно, и течёт нежной рекою ко мне, душистое, будто синелевое дыхание ея слышу... Вдруг к Никону обернулась. Да и шепчет ему: ты, Патриарх, не пугайся, мя не убегай, увидь, услышь, я-то ведь и есть твоя возлюбленная смерть. Вижу, у Никона губа дрожит. Как

это, болярыня, како может быть: живая баба — и она же смерть? А болярыня моя шепчет: да, может, да. И ко мне лик светлый повернула. И мя очами до кости прожигает. И вдруг смертушкой обратилась: скелетом, костями гремучими; смрадом могильным повеяло. Все мы друг другом оборачиваемся; смерть поворачивается жизнью к нам, жизнь гибелью оборачивается, а я ярким безумным костром обернулся для люда моево будущево, грядущево, который огни округ башки моей метельной, седой зреть будет, а то, што на костре я сам себя во снах моих не раз видал, то не диво; не раз собственные крики истошные, до небес, с кострища тово слыхивал я... проснусь, головою помотаю да и плюну. Дай прикажу сам себе помереть, зряшный Аввакум! Ты, жалкий протопоп, привидится же тебе в ночи такое непотребство. Вставай, поднимайся, подрысник напяливай, рясу нацепляй да иди во храм, даже ежели нету храма, даже ежели вместо храма у тя хлев коровий, сруб отшельничий. Отвернись, болярыня! Не гляди на Никона! Никон тоже за чем-то мне послан. Гляди, как стоит и смотрит, набычась, у, бык мирской, Никон... за ним Царь-Государь, призраком, ветром паутинным кольшется, и ты, Настасья, закрой очи твои, не гляди на то, на што глядеть нельзя... помни, настанет время, состаримся мы оба, и побредём по льду широково озера без краёв-берегов, а вокруг тайга, а вокруг кедрач, дети малые наши орут, воины жестокие нас погоняют, прикладами нам в спины тычут... ту парсуну ледовую, суровую ты, болярыня, в твоём сне давненько видала. Да крики робяток моих бедных в том страшном сне слыхала... а не сказала, жёнка моя мя в том сне обнимала, или в том сне ты, болярыня, сама мя утешала... один раз про тот сон мне и поведала, но никогда боле о том видении ночном ты мне не говорила, душенька моя... мя щадила. А и кто я такой, штобы жалостью мя наградить? Ни жалости, ни снисхождения, ни любви не прошу, не требую, лишь пою псалмы свои юродские. Не людям пою, а сам себе. Да ищо Богу. А вот сон, который видел я про тебя, болярыня моя возлюбленная. Вот он-то и сбылся. Увезли тя в розвальнях, и погибла ты, умерла с голоду в глубокой яме, вырытой до самово сердца земли. Вырастали из-под земли крики твои страшные, улетали во небеса и обращались в кровавые звёзды.

И не пришёл я к тебе, настоящий, живой, умирающий в муке мученической, а пришёл к тебе лишь мысленно, во снах моих, опять посреди полночи. Дай прижму тя к груди моей, болярыня! Моя жёнка Анастасия, голубка, прости, прости мя. Тебя я так никогда к себе не прижимал, обнимати тож ведь можно по-всякому, можно ручищами тело обхватывать чужое али родное, да свои телеса, яко шубу, на иное тело накидывати, да сжимать чужую плоть, крепко стискивать, да хруст костей слышати, да поцелуями лик румяный покрывати. А сердцем можно обмять и духом. Обьятия духа самые крепкие, их уже никто не может разорвати, а Господь Бог, Господь, Господь-то может разрубить их одним дуновением из уст Своих, одним беглым взором Своим. Он и рубит-жжёт, Он и съединяет-сращивает, Он может всё. А мы, юродиво пав на колени, на животе на холодных досках разпластавшихся, молимся и молимся, всё молимся Ему. И нет конца-исхода той отчаянной молитве. То громкой и хриплой, то безумным шепотком рассыпанной, слёзными зёрнами. Чем, протопоп, я отличаюся от скомороха площадново? Да ничем. Я такой же нищий, как скоморох бродячий, я такой же весёлый, безпричинно прыгаю до небес, и жить радостно-захлёбно мне, како и ему, плюсну. И так же я горько плачу, ежели мя плетью кто нагло лизнёт или жгучим словом смертно обидит. Словом можно излечити, а можно и убить, яко ножом вострым. Люди, они часто сами не ведают, што они убийцы. Убийца до гробовой доски верит в то, што он непогрешим! Што правильное дело содеял. Ежели тебе хуже худово — убийца добьёт тебя смертным боем, швырнёт в застенок; како раньше на комара иереев опальных в тайге бросали, так и тя к разлапистой ели навек привяжут; кто власть имеет, тот тобою и распорядится. Значит, главное на свете власть.

Господи Боже мой! Да не есть ли вы все, людие, юродивые-безумные! Вот юродивый на снегу сидит; и безгрешен он, ибо молитвенник он; а я есмь грешник. Ты, роза моя посреди снегов, любезная Феодосия Прокопьевна!.. ты болярыня моя и юродка моя. Ты, Настасья, бедная, несчастная жёнка моя... а и кто же такой юродивый? Не тот ли это Симон Кириянин, что за Христом Крест, Ему в подмогу, на

себе волок по дороге на Голгофу, на Лысую Горю? Путь ишо не был проложен... шли напролом, наобум... Не тот ли это копыеносец Лонгин, што на прободённый бок распятого Христа глядел, а потом как швырнёт копьё своё прочь, да бух!.. как падёт на колена, руки к небу поднимет, да как возопит на весь Мирь широкий, вечерний, грозовой: Господи! верую! А разве не юродивые скоморохи наши? Я, грешник, вот мечтал-то, уж грешно незнамо как, будто вина сладкого, романей упился... о том, как брошу церковь мою, оденусь в рубище, в тряпицы жалкие, лохматые, да побегу на площадь, да увьюсь вдаль за ними, цветнопламенными скоморохами, и буду неистовый бубен трясти в руках, колокольцы зачнут на весь Мирь звенети, и приплясывать буду умалишённо, ножонки мои жалкие крючить-подымать, лик мой грешный к небесам васильковым, ярким запрокидывать! Да кричать, блажить на весь зимний свет: а смерти не было и нет! Но ведь люди о том же, о том же всегда вопят! Што смерти нет, то и я во храме изрекаю, и я во храме о том посля службы проповедую! Колена люди предо мною преклоняют! А я руки на темечки, на затылки знай кладу, да и шепчу им, сам весь в слезах, лицо всё солёное вперехлёт слезами залито, а лютуют те слёзы прямёхонько из души: ах, люди, люди мои, знайте, верьте, нет смерти! Смерть, где твоё жало! Ад, где твоя победа! Христос воскрес, и Ангели поют на небеси! Христос-то для меня воскресает каждый день, и всякий Божий день я, грешный Аввакум, справляю Пасху мою! И Пасха моя — то мой ледоход, река сибирская, широкая, страшная, вскрывается во сне по весне, лёд трещит и гремит, льдины торосами встают, горами надвигаются на тебя, грохочут булыжниками, а ты стоишь на берегу и видишь, как играет первая весенняя вода, и как на льдинах тех мимо тебя плывёт весь твой возлюбленный Мирь: мальцы стоят, за верёвку салазки держа, собаки лают бешано, взахлёб, коровы мычат, гривы лошадей, воронье и золотые, по ветру выются, и конские хвосты огнями бьются в широкой синеве... Царство синеве, упоённово, Богородичново цвета! Лазурита ослепительней, сапфира во иконной скани ярчей! Речная снизу синева, небесная сверху, а мимо мя, грешново, на льди-

не плывёт храм Божий, а за ним дом плывёт, изба, кому-то сгибшему родная, и уплывает во время, в безвременья широкое море... Куда поплывём? И всем во свой суждённый час колокола поют, звучат, белая колокольня сумасшедшей главой небеса васильковые пронзает... горят купола Пасхи Господней, начищенные, синие со звёздами золотыми, то цвет плаща Богородицы... так всякую минуту, всякий миг жизнь наша синевой небесной насыщается... А вдоль берега — река. Опять синева! Куда ни кинь взор! И глядим мы во грешное зеркало воды, куда глядеть святые отцы не советуют, на лик свой жалкий пялимся, да и видим: он-то стареет, а вместо чахлой плоти всё боле является душа! Лик-то морщинами страшными, инда сетью рыбацкой, покрывается, а душа — молодая!.. душе нашей всегда пятнадцать годков, шестнадцать... отроковица она, наша юная душа... Нет ей старения, нет ей износу, и поёт и плачет она, молодая, жарко и горько, и обнимает она, юница, весь Мирь, вчера рождённый, пламенный, огни на буграх приречных полыхающие, воду синюю светлую, светло под небом горящую, под Солнцем палящим, под ветром могучим и жадным... Сколь в Мире красоты, людие!.. и я вижу её, и я люблю её... скоморохи, они поют, а я жадно слушаю их... и прочь с площади широкой иду, возвращаюсь в избу, собираюся во храм, зимняя трава от избы до храма притоптана... тропа притоптана, проложена не мной — Богом, владыкою души моей и судьбы моей юродивой. Я Бога люблю юродиво, Ему служу... в далёкой мрачной Византии или во первопрестольном граде ходил бы я нагим безумцем по людным, насмешно, глумливо гомонящим улицам, яко Василий, батюшка наш Блаженный, без шкуры соболиной, без шубы медвежьей, без тулупа бараньево... вертелся бы то посолонь, то противусолонь, телеса жалкие, смертные, рёбра костлявые Солнцу и Морозу подставлял... А што есть Мороз? Он есть палач али милостивец? И што есть палач для того, кто брошен в застенки? Он есть пыталыщик наш, мучитель наш безсердечный, али он боль причиняет нам лишь затем, штобы повторили мы подвиг Христа Бога великий, штобы мучение Ево на Кресте вкусили...



\* \* \*

**(письма с войны: дочь пишет убитой матери)**

*мама я иду держу за руку дедушку одново у нево густая белая борода мы идём в никуда по бездорожью где чертополох лебеда правда когда и по дороге болят мои ноги я спрашиваю деда а когда мы придём в никуда а он отвечает никогда вот в чём беда и я смеюсь это он так смешит меня мама для меня давно уже нет ни ночи ни дня всё в чёрном дыму закоптили рыбу-стекло мама моё время от меня само убежало ушло мама я такая старая как дедушка этот мы уже тыщу лет ходим-ходим по свету а я тебя всё никак не найду в таком шерстяном дыму на хрустальном таком холоду мама мне снился сон ты уже пришла в никуда и у тебя дыра во лбу чёрная звезда мама а дедушка мой слепой у нево глаза ледяные он идёт за судьбой я ево севодня спросила зачем мы идём он сказал: мы идём за огнём люди так тоскуют по нём*

\* \* \*

**(детство, время и Байкал:  
ино ищо побредём)**

**В**сякий из нас, живущих, робёнок. Детству конца нет и краю, и я дитя тож, дитя малое, неразумное... матушку вот вижу яко чрез туман, батюшку. Да разве это так важно, мне их сей же час увидеть... их нет давно на свете. А я всё робёнок, хоть взрослым себя чту; хоть мудрым змием, волком матёрым у людей числюся. Много, несчётно людей, толпа безкрайняя глазами на телеса мои глядела, зраками буравящими в душу мою заглядывала, а робёнка, дитяню тамо не узрела. То, што дитя я-то, грешный, видит только Бог; и, значитя, Он мой истинный родитель, Он мой отец, и я Ево сын... ересь говорю, тако еле слышно сам себе шепчу. А возвернулси бы я в детство моё, отмотал бы жизнь назад? Да нет, разве ж позволено человеку время вспять бабкиным клубком размотать... мы все идём по лезвию времени, мы живём вне времени, мы понимаем, не умишком жалким, нет, а чем-то иным, неизречённым, што нет времени, мы застываем на краю времени, мы беседуем с болью времени, мы лечим, обвязываем снеговою ветошью страдания времени... под-

носим времени ко рту нашу ягодную наливку, сладчайшее вино: отпробуй, времячко, глотни нашево вина... жалок кровавово вина в бутыли, в чаше ищущий, а кровушка наша, кровушка моя, кровь дикая, неприручённая помнит всё, она течёт временем, время это кровь... кровь это безвременье, то время, што давно опочило во широких, во глубоких небесах, и спит тамо уж целую вечность. Изыди, сатано, восклицал я в молитвах моих, в мірах чужедальних, и повисал тот жалкий возглас мой между временем и безвременьем... во времени кто ево услышит? А в безконечности он и так в Божьем зеркале, синем небе, отразится весь, сполна, крик мой, вопль твой, человек. А во весь рост возставший человек есть время. Наизусть помню Откровение Иоанна Богослова: и небеса совьются в свиток, и времени не будет. Вот пишу, говорю, кричу, шепчу. А кому нужны будут сии письма за горами времён, за долами годов и веков, за тьмою тем боли? Призрак времени проходит мимо нас, грешных, и уходит в такой неподобный мрак, што не пронзить никаким человеческим взором. Ни дух наш, ни зренье наше, ни воля наша, ни смерть наша те грядущие времена рыболовною сетью не измерит, не зачерпнёт. Неважнецкие мы рыбаи; не ловим мы золотую, сребрянную рыбу времени; и я тож такой неумеха, и не ведаю, каким смертным путём прохожу во времени и по какому ево краю, по какому острию ево, по лезвию какого ножа ево, ево топора огромадново голыми стопами медленно, како в тягостном сновидении, двигаюсь я. Ищо шаг, ищо маленький шажочек... ступни мои изранены в кровь, кровь течёт, это мои стигматы, это мой ход. Я во времени иду и ноги все изранил, будьто босый по льду Байкала шествую, ветром култуком до пепла сожжён. Жёнка моя за мною ковыляет, еле поспекает, спешит-спотыкается, чуть не кувыркается. Да вопит, вопит на весь Мірь Сибирский, кедровый-подлунный: погоди-погоди, эй, протопоп!.. оборачиваюсь к ней, да изроняю слово из брадатых-мохнатых уст моих: што, Марковна?.. пошто останавливаешь мя?.. зачем останавливаешь время моё?.. Она мне в спину, укрытую толстым овечьим тулупом, снежки криков своих, воплей своих бабьих бросает, швыряет: долго ли?!.. долго ли?!.. долго ли, протопоп, ту страшную муку принимать нам с детьми нашими мальыми?! извелась я вся, измучилась!.. сей же час на лёд жи-



вотом лягу, замру, да так и замёрзну! А вы все идите, бредите, ступайте!.. ваше время ишо не настало, час ваш ишо не пробил! А меня, грешную, на льду озера тово клятово оставьте умирать! Киньте-бросьте мя туточки!.. Долго ли, протопоп, мучение сие принимать?! И тогда остановился я, и престал идти по озёрному толстому льду; слышал душою и видел воспалёнными очами, как подо льдом, в смертельной глубине, в холодной воде ходили медленно, шевелились, тягуче перебирали зимними плавниками могучие страшные рыбы, и подошёл я к Марковне, а она уж на льду валялась, рыдания сотрясали ея изхудалое тело, подняла она лице своё ко мне, и увидал я, што щёки ея ввалились земляными яминами под череп, ох, оголодала бедняжка, последний кусок дитяткам отдавала, истомилася, измучилася в край, и протянул я жёнке моей руку и помог ей встать со льда синево, лазорёво, порошею мелкой присыпанново, исчёрканново полосьями и подбитыми железом сапогами воинскими... шаталась моя Марковна, обнял я ея за плечи и прижал к себе, крепко прижал, будто вжати ея внутрь себя восхотел, и прижалась она ко мне не како к человеку, к мужу ея живому, а како всё живое, обречённое на смерть, прижимается ко мгновенной жизни и убегающему прочь времени, и прошептал я на ухо жене моей, крепко, железно обняв ея на страшном морозе: до самья смерти мука та нам, жёнка моя, и воздохнула она, как опосля плача бурново, безумново, захлёбново, таково прерывисто, яко дитя малое, жалкое, на морозе дрожащее, и вымолвила, лице своё близко, яко горячий медный потир с Причастием Святым, поднеся к моему лицу: ну што ж, протопоп, ино ишо побредём.

\* \* \*

#### (сумасшествие)

Сумасшедший я... люди безумны тож. Служу вам, людие, всем сердцем, всей своею совестью, голос Господа стараясь услышать. А мя в темницу бросают, мя батогами побивают, а я всё тружусь да тружусь, лежу да шёпотом молитву читаю, псалмы всё твержу: Боже, услыши, Боже, жалкую молитву мою. Ну не безумец ли я? Стрелы в мя летят, пули свистят надо мною, повора-

чивается подо мной бок земной всё быстрее и страшней, и не зрю уже мир я от боли. Спасибо, Господь мне ишо речь мою оставляет, и образа Свои на стенах срубовых не съмает, штобы я Ему и Богородице горячо, страстно молился... а про страсти-то это я вам зря лясы точку, рубашку лучче с себя скинь да собрату полумёртвому швырни, штоб он укрылся и согрелся, вот тебе и страсти все. Не помышляй о довольстве, довольствуйся тем, што имеешь; смирись с тем, што слаб и жалок; плачь на коленях в тёмном крысином углу, от рыданий сотрясайся, и у Бога никакой пищи, голодный, не проси, надо будет, пища тебе сама явится, она не исчезнет никуда без Божьево на то соизволения. Да будет Господь тя испытывать и голодом, и холодом; благодари Ево за это. Когда Марковне говорю, што я сумасшедший, а со мною в людском незримом хоре всё дале да безповоротней лишаются ума все на земле живущие, она кладёт руку свою нежную, невесомую, мне на плечо, ровно голубиное крыло, да шепчет: огня Господнево не бойся, Он нас живых поглотить не ищет, Бог не выдаст, уповай на Нево. Улыбаюсь ей, а она мне дальше шёпотом: душу твою Бог чует; помни, Вакушка, ты не зверь таёжный, ты не барс снежный, не медведь черношкурный, а ты человек, и Бог с тобою сотворит, што хочет. А я и спрашиваю ея, тоже шёпотом, нежно: Марковна, а может, я в монахи постригусь? Да и ты, жёнка моя, схиму примешь... гляжу, по лицу ея слёзы мелко-мелко, быстро-быстро так текут, снежно искрятся, будто лепечут, бормочут што-то торопливо, а што, не разберу... исчезают ткани одежды ея, вязание, шали ея... будто реет она в воздушях, яко Ангел... и так отвечает мне жёнка моя, Марковна: а кто ж детишек-то поднимать будет? сиротами, што ли, Вакушка глупый мой, хочеши их оставить? не докучай Господу словесами лишними; лучче помолися, молитовка полезна и здоровым разсудком, и полоумным дурачкам. Смеюсь я: ах, Настасьёшка, дурачок я у тебя, дурачок и есть!.. и так крепко обнимает она мя, и шепчет, и щекотно шее и уху моему от шёпота ея: Господь ко всем милостив, и к безумцам, и к здоровым, и к болящим, вновь рождённым, и к уходящим навек... терпение, Вакушка, терпение и смирение, вот что нам остаётся!..

Безумец, да, тяжело, людие, скажу я вам. Бе-

зумно пишу я, царапаю пером гусиным по серой, ноздреватой яко хлеб бумаге, ломается в пальцах моих птичье перо, из хвоста у гуся острожново выдранное; чернило мёрзнет, руки холодеют, дышу в них ишо горячим, ишо жарким дыханием моим. Нет, не Апостол я Пётр, не Апостол великий Иоанн, што Апокалиписис в назидание, в наушение нам начертал на острове Патмос; жалкий я протопоп, Царём пленённый; сижу во срубe, затерянном в тайге, и зачем ея, жизнь мою, безумец, будущим людям повествую? Так, в подобном безумии и рождается человек; немощный, станвится внезапно сильным и непобедимым; мешают ево сапожищами с землёю, а он из земли вдруг воздымется в зенит, раскроет крылья, яко Ангел Господень, да и полетит, торжествующий. И так мы вечно, всегда, людие, то падаем, то встаём, и кто нас услышит, и кто по нас заплачет? Ангелы?.. они только радость несут, безумцам ли, здравым ли умом. А што есть умные люди? Может статья, и ума никакого нет? А есть только сердце, и бьётся оно ныне, и присно, и во веки веков, и есть только Дух Святой, дух, он реет, где хочет... два сына малых моих умерли, я сам ладил гробики маленькие, сам детей своих мёртвых в те гробы укладывал, сам складывал бездвижные ручонки у них на груди, и было чувство, што я босиком опять по вострым камням иду, и траву горькую заместо хлеба жую, и коренье жёсткое зубами, инда лошадь горчащий овёс, перемалываю в слезах... как они мучилися, металися, детки мои, когда умирали, не мог я опосля их похорон есть и пить. Анастасия всё шептала мне: ах, Вакушка, ешь да пей, кто из нас никогда не ел своего хлеба со слезами, да все мы, таково рыдающие, едим наш хлеб и пьём наше питьё, и не будет на земле иначе.

\* \* \*

(моё больное)

**В** одиночестве, в уединении, так и лезут в голову мысли о самом больном, о самой муке великой, кою пережил я на земле. И у мя, как у всех людей, были мучители; я не мог убежать от них; они бичевали мя, но не плетями, не розгами, не палками побивали, а словами; душою своей и разумом своим они мя убивали, убить хоте-

ли, и словесами жёсткими, острыми, безжалостными втаптывали в грязь; а я, утешая себя, всё шептал себе: ково не втаптывали в грязь, ково не били, ково не истязали... да всех, всех! Нету на земле человека, коево не бичевали, не лупили! Хоть плетью, хоть словами! Словами-то ишо больнее. Иду по улице. А ко мне молодчики подходят да задираются: а, протопоп жалкий, кричат, ну давай-давай, скажи нам проповедь твою о Боге Единосушном, об Иисусе сладчайшем! Мы знаем, ты повторяешь не те слова, што предписаны свыше; ты против Царя встаёшь!.. казнить тебя мало, замучить тебя на дыбе пред смертью надобно!.. а потом шепчут мне хитро: ты же всё пишешь, мы знаем, што ты там таково строчишь, выкрадем из сундука у тебя каракули твои несчастные да направим прямёхонько Царю-батюшке, да как еретика, велит он тебя запутать вервием да на костёр поволочь! Я смотрю прямо во лице их, спокойно говорю, не возвышаю голос: Господь вам судья, и Господь вас прости, да Он уже вас простил. А я кто такой? Аввакум смиренный, грешный насквозь протопоп; я только исповедь могу принять во храме Божием у вас, ежели ко мне на исповедь притечёте. А они мне в лице хохочут. И много ишо всево было: и за углом мя подстерегали, и смертным боем били, кулак в лицо мне совали, а потом, когда я в сугробе лицом вниз безсильно лежал, а мя по спине да по ногам сапогами чугунными охаживали, слышал я голос: ты, Аввакум, не человек, диаволово ты отродье, казнить тя надобно, да мало тебе Царской казни, мы тебя сами казним, мы тебя уже приговорили, сходи не сходи с ума, тебе всё одно ответ пред нами держать придётся! Лежу в сугробе и задумался крепко, мучимый, побиваемый: пред кем ответ-то мне держать придётся?.. никто, кроме как Бог, не осудит мя! никто, как Бог один, не приговорит! только пред Богом человек держит ответ за всё, што он совершает и што с ним совершается! А вся ложь, всё, што люди бросают друг другу, враг врагу в лицо, опьяняючись гневом, это есть положенная на чёрные знамена и крюки злоба их! не могут люди злобу в себе, инда болячку тайную, держать, они спеть-прокричать ея должны, и сие людей погубит; те, кто со злом борется, те знают, што такое терпение и смирение. А кто не может победить внутри себя зло, тому нет терпения и смирения, а

тому есть возстание тёмново, мрачново огня, и возжигается тем огнём душа, испаряется на том огнище сердце, и вот внутренности твои, человек, потроха твои, што Бога Господа назначены чюствоватьи, сгорели, истлели, и нету внутри тебя живой души, ибо костёр, што жадно пожрал душу твою, не огонь высокой муки во имя всево святово, а костёр диавола, што испепеляет тебя изнутри. Как долго, как много, как часто проповедовал я во храме, опосля службы, о том, штобы люди в душу свою диавола не пускали! Когда крестят тебя, ведь ты же помнишь великие, святые слова: отрицаешься ли сатаны и всех деяний ево? и должен ты плюнуть во сторону сатаны, за плечо твоё, ибо рядом он стоит, диавол, рядом с тобой, и вот-вот в тебя введёт угрюмых бесов своих, одним дуновеньем нашлёт. Сколько людей в целом мире одержимы погаными бесами! А сколько же надобно святых целителей, излечити их от страшной, мучительной бесовщины! Могу ли я это сделать с теми, в ково вселился бес ненависти, беру ли я на себя таковую обузу? Да взял я ея на себя, когда восторженно, при хиротонии, принимал на плечи мои сан духовный, и не думал в те поры, людие, што крест сей мне тяжёлый будет, и сан свой, как крест Христов на Голгофу, по всей жизнёшке я поташу на себе, как в живых санях, по судьбе повезу... Люди, когда друг другу зло делают, не думают о том, што будет потом; не помышляют о завтрашнем дне; они не в грядущем живут, а только здесь и сейчас, живут только жалким своим, дрожащим настоящим; они не видят время, слепцы они пред временем. А кто зрячий? Ужели я зряч? Ужели я врач? Ужели безумец может уврачевать безумных? Неужто Господь избрал лишь мя одново для тово, штобы исцелить смертельно больных, помолиться за недужных, обвязать целебными тряпицами исходящих последней кровью?

\* \* \*

(до судьбы)

*Ты мальчик мой, ручонка твоя потная, горячая, сожму ея и плачу, плачу. Ты на полшага впереди, я за тобой; во облацех над нами Ангел со трубой, трубит он ясно, ярко, чисто, далеко... и льётся, льётся облак золотое молоко... Иди! Иди! Я за тобой. Иди,*

*да ты и зрячий как слепой, так лёгок шаг, так ход твой невесом, ступай, катись живым счастливым колесом... Я за тобой! За нежною судьбой. Пришла война, и завтра грянет страшный бой, бесстрашный бой, бессмертный бой: застынет стон последний над губой... Иди! Веди мя! Меж кровавых, мёртвых тел! Меж пламени, железа! Ты, пострел, последний Ангел исчезающей земли... ты о последней жизни Бога умоли... Ты мальчик мой! Тебя я родила, когда, забыла, а, когда сожгли дотла, разбилась миска на краю стола, и навалилась мгла... Тебя я родила... лежу, молчу... века идут передо мной... затеплил кто свечу... в крови, слезах, измята простыня... сюда огня, огня... о, сколько лиц, людей... и всё идут, идут... их дети за руку ведут, ведут... всё мимо, мимо... поперёк, повдоль... слезами, кровью залита юдоль... ты мальчик мой... так вырос ты с тех пор... ты сам костёр... гори, пылай, иди, веди, любя... шепни мне, далеко ли до судьбы...*

\* \* \*

(кровь и Время)

**М**уки Христовы повторить для тебя... мучения повторить, страдания Бога твоего повторить, кровь, што лилась из прободённых рук Ево и ступней Ево... кровь, время, время, кровь, с ума схожу, но вижу, как небо всё, сплошь, широкими мазками, не богомазами, не яичною темперой!.. кровью расписано, будто ветер, што бьёт в лицо, то не ветер, а потоки крови, и швыряет Бог ту кровь на небеса, под облака, под тучи, замазывает красным крыши, заливает землю, озёра и тайгу, и вместо воды в реках холодных — горячая, дымящаяся на морозе кровь течёт... воистину с ума спятил я! Всё движется к своему концу, а может, ко всеобщему сумасшествию, а может, ко всеобщему искуплению; чем искупим все мои грехи? своей кровью, новой кровью?.. сколько же крови должно ишо пролиться, штобы мы от грехов старых и вчерашних насквозь очистились, стали перед Богом яко наг, яко благ, яко несть ничево... благие, ах! пророками стать хотите?! не получится! пророк, за счастье видеть время — своей жаркой кровью плати! Пророк Езекииль воздымал ко звёздным ярким, ослепительным полночным небесам страсть свою и желание своё, и извлекал из мох-

натых страшных уст своих то, што смертному услышать нельзя было. А кто за ним то пророчество записал? Неужто писец за ним украдливо ходил по пятам, и восковую дощечку, пергамент ли, папирус ли таскал да в железные слова отливал те безумные вопли, те страшные хриплые крики? Да разве можно сумасшествие записать, людие? ево можно только испытати, ево можно лишь пережить, переплыть, и кровь по капле отдавать, али себя мечом разсечь, али дать на войне шкуру свою прострелить, и рану ту, навылет пулей прошитую, уже никакой Бог не вылечит. Ты должен кровь свою Мiру во славу пролить, пусть она в землю наяву, како во сне, впитается, поутру выпадет красной росой... Пусть из нея, из кровушки твоея, из той земли, окровавленной, красной, деревья и травы новаго Эдема поднимутся, новый Райский Сад восшумит под ветром, под солнцем палящим, под небом зовущим... А ты? ты, кто отдал Мiру жаркую кровушку твою, отдал новому Райскому Саду, Богу, што улыбається нежданной, сужденной смерти твоей, ты, жалкий Аввакум?.. на Страшном Суде воскреснешь! не считай себя, червь, пророком! никакой ты не пророк! мысленно играеши ты на арфе, бред безумной глоткою хрипишь, ударяешь пальцами по струнам, шиплешь жилы золотые, медные и железные, конские и воловьи, повторяешь ты Царя Давыда, зеркалом души своея ево отражаеши... Ну каков же ты жалкий огарок, Аввакуме! Царь Давыд певец Великий, пророк Звёздный, а ты просто можешь спеть-прохрипеть твою песню пред тем, как вся кровь из тебя истечёт, до капли, и в твою родную землю вольётся, в таёжную почву, иглами елей и кедров сплошь покрытую, обнимет кровушка твоя корни грибов и ягод, ляжет под ноги волку, ляжет под когти медведя, и осторожно прольётся под нежные лапы лисы с рыжим солнечным хвостом... зверьё твоё, белорыбица твоя в реках плещется, реки кипят от рыбного изобилия, да не учюдить уж тебе, жалкий Аввакуме, чудесный лов рыбы, не повторишь ты Господа твоего, лишь заплачеша кровавыми слезами, кровью возрыдаеши над тем, чево не будет никогда. Да, никогда! не желай, человек, што-либо повторить нечеловеческое; не Божий ты бич, о нет, ты лишь человек, сухой лист на ветру, и человечье лишь повторай, повторай... счастье ведь в том,

што ты повторяешь святое, што ты повторяешь себя сам, потому утреннее правило и вечерние молитвы с тобою каждодневно одни и те же, да голос твой розный, то ясный, то хриплый; хрипло выпеаешь ты древние мотивы, выходит всякий раз по-иному, да опять повторяй ход твой по земле, повторяй бой часов; так повторяет кукушка в тайге свой тоскливый одинокий крик. Кукушка, кукушка, сколь годов бедному Вакушке ишо жить?.. накукуй мне тысящу лет! хочу жити, како древний пророк... они все, пророки, безсмертны. Но ведь и они когда-то, час пробил, преставились. Всяк ушёл с лика земли, окромя Господа. Смерти не отвергнеши, от смерти не отвертишься, костёр горит, всё вижу огонь, жмурюсь, а никуда от огня уже не спрятаться.

\* \* \*

#### (Псалтырь и Федосья-пророчица)

Всё на свете Псалтырью звучит и Псалтырью встановится; всякое, нас старшее, незримо летает над нами, а мы мыслию древность ловим, и мысленно мы врагу не зла, а добра желаем. Так Царь Давыд днесь игрывал на арфочке своей злобному Царю Саулу, и музыка чудная птицею летала-кружилася округ патлатой башки страшно Саула, умиротворяла ево и утешала. Так и любому человеку живущему помогает милая музыка. Умиротворяет ево, да, утешает. В болезнях да испытаниях ему помогает. Музыка есть великая поддержка духу и душе живой. Словами я музыку мою записываю, а Псалтырь моя звенит и звучит то грозою над полями, то цветочною радугой. Моя Триодь то постная, то цветная! древность просвечивает сквозь дегтярную толщу годов и столетий, а будущность мерцает сквозь наши нынешние слёзы. Где Время?.. и опять время; опять оно надо мною крыла простирает. Што есть моё прошедшее, што есть моё настоящее? што будет моё будущее? Прошлого нет; нынешнее уныло, тяжко, а будущее кто прочитает? ево только обнять безраздельно, широко и больно, только заплакать мы можем по нём. Только возродать голос свой, безконечный, длинный крик; да так вопить, штобы Архангелы за тучами слышали, штобы Херувимы и Серафимы задрожали и крыла во всю ширь распах-



нули, нас от гнева Господня защищая. Вижу, вижу, всё будет ужасом полно, ужасом и неизбежным отчаяньем. Будут глад, мор и землетрясения по местам. Глад!.. то понятно; разве не переживали мы, людие, невозможный глад в неурожайный год? Ну, мор, с ним всё ясно, нападёт болезнь лютая, подомнёт под себя, истопчет, руки вывернет, за спину заломит, и на дыбе Вселенского жара тово сгоришь ты, и кострища тебе не надобно. А чем мы все больны, любимичи мои? Да мы же все больны безлюбьем! мы все больны неверием! а превыше всево мы все больны ложью, враньём великим. Страждем несносимо! Ложь губит нас; ложь наши мысли чистые, светлые, святые извращает, ломает, дёттем замазывает, како распутную девку, штобы все, кто ни попада, плевали в нея, а то белит и румянит, штобы выдать замуж, штоб ея, перестарка, в семью подобрали, ложь, она такова, и неважно, кто лжёт беззастенчиво, кто боярин, а кто смерд, кто Царь, а кто холоп, всех ложь в один вонючий стог сгрёбёт, всем несчастным, оболганным клеймо на лоб, плечо и руку влепит. Откровение Иоанна Богослова! Всё до капельки там записано, до словечушка! Вот оно какое: не печать, што кожу человеческую насквозь прожигает, и волдырь вздувается, а печатка лжи, от коей душа чернеет, дух огнём возгорается, тает на Адовом, чёрном огне том и говорит, стена: неужто пепел заместо нас, заместо любви живой всю землю покрывает? Неужели грянет последняя в жизни война? Мы, все люди, сию последнюю в жизни войну то и дело опасно, дико призываем. А зачем мы зовём ея?.. ведь после нея, может стать ся, и людей на земельке никовошеньки не останется. Болярыня моя Феодосия Прокопьевна тако мне говаривала: последняя борьба, то не борьба последняя, борьба не победа, да нет там, знай, навечново торжества, и нет там, вдали, навечново прощения. И нет там победы, нету праздника там, ни человеческого, ни Божиево, а есть только слёзы великия, только слёзы есть, льются и льются, да не человек их будет рождать, не человек их будет, бык мирской, ослепший, точить, а сам Господь Бог над нами, мертвецами невольными, восплачет; а я болярыню и спрашиваю: как это ты, Федосья Прокопьевна, узрела те события в дали веков, в толще времён? Ужели ты, смертная баба, можеша читать время

по слогам? Она тихо, молча усмехается да так на мя смотрит, глазищами насквозь мя прожигает, до костей, до дна души, до облаков тово баснословново времени, што встаёт, огромное, безликое, за моюю спиной, а потом губы ея дрогнули, и тихо, тише воды, ниже травы она промолвила: я вижу, батюшко, вижу и ничево с тем поделати не могу, рада бы не видеть, не раз у Господа просила, штобы забрал Он от меня тот тяжкий, да, тот чугунный тайнозренья крест. Зачем я зрю всё сущее, и даже то, чево нетути ишо на земле? и не смогу избавитися от зренья сево до самые смерти моя. И так я Господа, батюшко, прошу: забери от мя мою жизнь, не могу я жить, видя всё насквозь... зрю сквозь моря, окияны, линзы озёр, сквозь кровеносные токи, сквозь частокососен в тайге, инда скелеты, кровью обмазанные; зрю всё, што было, есть и будет, сквозь грозы и ливни, сквозь причитания свадебные, восваления хороводные... возьми навеки от меня дар сей, ибо дар Твой казнию мне стал лютою! Вот тако же, протопоп, и я молюсь, и ты, протопоп, помолись за меня днями, ночами, поутру и ввечеру; отврати лице твоё от жены твоей, тихо встань с ложа твоего в ночной рубахе, подойди к образам, ко твоему киоту, преклони колена и поднеси двуперстие ко лбу твоему. Таково крепко натопил ты печь на ночь, штобы вам с протопопицей не замерзнути, штобы тепло у вас в избе густыми сладкими сливками разливалось, и я велела все печи с изразцами растопить в доме моём! Жар полыхает от изразцов, разсматриваю я узоры на тех изразцах, вот жар-птицы золотые, вот белорыбицы со загадочными письменами на перламутровой чешуе, на других изразцах орлы синие, цвета грозы, на третьих волки серые и лисы рыжие бегут, а куда они бегут?.. на широкую площадь! А на широкой площади стоит мужик в колпаке с бубенцами, и высоко над головою бубен поднимает, и в бубен больно, жарко, часто бьёт! Глядишь, так кулаком могутным и сам бубен ненароком убьёт! А ты? Может, ты и есть живой бубен? И в тебя надобно всё бить, бить? Художник ли ты, грешник ли, пророк ли, юродивый — всё одно забьют тя камнями, батогами, сапогами. Зачем на изразце малом, величиною со створку перловицы, ты скомороха намалевал? На соблазн или на радость?

\* \* \*

## (солнечный луч)

*Девочка, ты чья? Ох, да не моя! Охти мне, из небыльа вынырнула рыбкою-уклейкой, выкатилась медною копеечкой... Девочка, ты чья? Имени твоего не знаю я! Назови себя богато, назови себя нище... ветер в ушах моих воет и свищет... Девочка, ты чья? Луч солнечный летит быстрее копыя! Златой нимб округ Нерукотворнаго Спаса, ясные очи превыше смертново часа... За руку мя взяла да за собою повела! И увела, и увела... и лишь шептала: сгоришь, сгоришь дотла... А я в ответ: сгорю, лишь рядом будь... А она мне: пустимся в путь... А я ей: на краю бытия... Дитя моё!.. девочка, ты чья?..*

\* \* \*

## (Дева, как ея имя...)

**М**ир постепенно раскалывается на подделку и на истину, на войну и на Мирь, на вражду и любовь, на текучую кровь и сухую ветку, на здоровье и на хворь неизлечимую, и сам миг, самое великую загадку Раскола мы не поймали... не поняли, когда же вострубила беда, когда заблажил на все небеса последний набат, ужас Вселенной. Што же с Русью сделали? зачем она сама, смиренно, легла на заклание? Зачем обрекла себя на жертву кровавую? может быть, выживу, думает мучимый человек; а земля, родная земля, што она помышляет? Земля может мыслить, да. Земля может рыдать и смеяться. Она яко человек. Она яко Бог! Мы сей же час во тьме плывём; переплываем окиянице страха, тёмное море ужаса. Страшный, вон он, вон; кто же это предо мной, там, в углу, под образами, под святыми моими иконами?.. не различаю лицо... но только вижу...

Нет!.. то не ужас довременный. Господи, как же смертью безконечною нас измучили, напугали!

Дева, зрю... и тишина стоит округ, молоком в подойнике, и Дева стоит, тихо дышит, во длинных одеждах, то ли понёва, а то ли сарафан, а то ли праздничная юбка, штобы спеть псалом да кинуть косу на плечо, да пойти широким шагом

на сенокос, посреди жаркого июля... Настась-юшка, кричу хрипло, Настасья, ты ли это?! молчит, рот на замок, виду не показывает, што мя слышит. Федосьюшка, кричу, Феодосия, Феодосья Прокопьевна, болярыня моя, што притворилася тут, притулилася?.. вижу плечи твои угловатые да прямую жёсткую, сосноюю доскою, спину, а што же лик твой от мя, столь любящево тебя, отворачиваешь? Молчишь? Пошто так? Подхожу, трогаю тихо Деву за плечо, и вот, когда прикоснулся я к ней, тогда и повернулася. А по лицу ея слёзы текут красные, коралловые, кровью плачет она, зажала рот ладонью, я назад отступил, гляжу в ужасе, во дрожи, не могу отвести глаз от нежново лика, кровью залитово. А уж прекрасна она, яко сама Богородица. Кто ты, вопрошаю, зачем ты здесь, какой ты мне знак подаёшь? Знаю ли я имя твоё? Не разгадаю судьбу твою! Как ты сюда, ко мне, попала? ведь дверь-то на замок амбарный закрыта! И только я скумекал, грешный, што дверь изнутри замкнута, как дрогнули губы Девы, через силу, через красные слёзы улыбнулася она нежной, любящей улыбкой. А я, говорит, из будущеево, батюшко, к тебе пришла. Из каково таково будущеево, вопрошаю ея, где то будущее зарыто, в каком сундуке оно хранится, крышку мы тово сундука не откинем до поры, ея только ветер Божий поднимет и отшвырнёт. И вот жду от нея ответа, ответа всё нет и нет, медлит с ответом она, ожидание невыносимо, не снесу лютой муки, не могу боле ждать, тяну обе руки к ней, хватаю Деву за плечи и встряхиваю, навроде как грушу иль яблоню, на коей по осени поспели крупные плоды, и кричу: так! ну што молчишь! ответ Твой где! где то грядущее! где прячется! как ты там живёшь! што делаешь! кому песни поёшь! ково любишь! Ково ненавидиши, с кем воюешь, ково прощаешь, а ищо имя назови мне твоё, имя, штобы и я тя тоже по имени, Дева, называл, ничево на белом свете нету безымянново, у всево имечко своё, у всево знак свой, буквица своя, все лепечут, кричат, визжат, молчат, но слышно, слышно всегда имя, имя то слово Божие, а имя Божие — наше слово есть. Откройся мне! не таись от мя!

И задрожали и сдвинулись времена, тронулись с места, како дощеник наш, посреди реки утонувший, значит, зачем-то это надо, Господи, а

мы, люди, лишь разгадываем времени загадки, как не хочется умирать, Дева, девочка моя, как хочется жить, дожить до глубокой старости лет, и чтобы счастье али горе снова и снова крепко обнимали тебя, да всё равно, счастье, горе, лишь бы жизнь, лишь бы жить, тебе — жить, увечному, слепому, хромому, глухому, калечному, жалкому, болезному, нищему, а только выжить, только бы длиться и длиться жизни, эй, подай мне знак, Дева, скажи мне имя! Перси ея подошли тестом на опаре, вдох глубокий, хрип ея дыханья слышу, она воздела руки и, как и я ей, положила мне руки на плечи. Аввакум, я имя твоё знаю, шепнула мне, а ты моё не узнаешь век. Называй меня тысящью тысяч имён, песни мне пой, радуйся вместе со мной и проклинай со мною вместе. Ты волен надо мной, а не я над тобой, ты лепишь мыслью, выдыхаешь из груди, из-под рёбер, твоё будущее, я, батюшко Аввакум, и есмь твоё будущее, я зрю тебя сквозь века. А тебе севодня довелось увидеть мя, так свиделись мы, радуйся! Оченьки от мя отведи, за мною пристально не следи.

Сунула руку свою за пазуху себе и вытащила маленьково, румяново, в печи спечённово святочново жавороночка.

Протянула мне на ладони да колядку весело запела: ах ты Вакушка, Вакушка, ты мой родный батюшка! Давай мену мне, давай, во имя Христа Бога вина наливай! Рюмку-рюмочку подноси, вишь, звезда на небеси! Я те жавороночка, ты мне Христа робёночка! Со Христом колядовать пойду, в небеси видать звезду! Жавороночка возьми да мя покрепче обними! Ночка звёздная, звёздная, морозная!

Я молча взял у нея из тёплой нежной руки слобново жавороночка. Настасья моя таких же птичек детишкам нашим завсегда пекла. И на Рожество, и на Пасху, и на Святки, и на Троицу Единосушную.

Зачем человек живёт на земле? Никто не знает, я бормочу. Отчего никто не знает, батюшко ты мой? знает только Господь. Но если бы мы, все люди, стали вдруг Единым Господом, Он вобрал бы все наши жизни людские в грудь Свою живую, живым Солнцем горящую, и глаза всех стали бы Ево глазами, и Ево глазами мы бы глядели друг на друга, и сжал бы Он нас всех, как тьмы тем пальцев, во Свой кулак, и

подъял бы тот кулак над Миромъ, надо всеми звездами и небесными планетами, воссиял бы Он надо всеми нами ярче январской звезды, пёсьево Сириуса, ярче адамаса Чингисханова, ослепительней яхонта Мономахова, и каждый бы, слышишь, каждый знал своё имя, но не знал, как другово, родново, зовут.

\* \* \*

### (Жена, облеченная в Солнце)

**И** говорит мне Дева: я тебе сей час, батюшко Аввакуме, покажу то, што ты желаешь видеть, што оком твоим внутренним уж видал не раз, к себе пропозицию сию не раз призывал: гляди же!

И повела в воздухе избы нежной рукой, а рука-то бела, мягка, прозрачна, яко крин озёрный, и странно, сугробами под Луную, заискрились образа, и словно бы послышались в полутьме сладчайшие звуки, пенье заутрени ли, вечерни, и узрел я, как под звёздными небесами снежные безкрайние платы адамантами искрятся, и как нивы золотисто, сытно клонятся к землице колосом густым; и дожди узрел, серебряные ливни, стеной вставали предо мной, яко стены Царских палат; и за снегами, дождями увидал я, как с Девой той мы рука об руку, как жених со невестой во храме, стоим, а округ нас — и Настасьюшка, венчанная жёнка моя, и болярыня Федосья Прокопьевна, душа возлюбленная моя; и Никон Патриарх, ретивый малец Никитка, шабёр мой, с коим с гор в салазках каталися да во сугробищах кувыркалися, а опосля зачал он гнать мя, гнать люто, страшно, мне на моей любимой землице не Рай, а подлинный Ад созида; и за Никоном — сам Царь-Государь, сам Алексей Михайлыч собственной персоной, молчаньем грозен, в молчаньи живём погребён; и знаю я, грешный, чую душенькой трепещущей, што я должен всех понять, всех простить, всех умиротворить, всех сердцем обнять. И стою, молчу. Ничево не хочу. Ни зреть, ни слышать. Ничево! Понимаю: худо это. Худо! Надо пасть разверзнуть да слово из себя вытолкнуть в Миръ!

Озираю избу: ба, да тут все, кто мя бил и гнал, кто ко мне лепестком ромашковым али листом кленовым по осени принимал; кто коварство

мне изъявлял, кто пагубы творил, а кто милость в горсти, яко кусочек хлебца насущного, нёс. Ничего не зрю от слёз! И Пашков тут валандается, кой мя лупил почём зря; и иные терзатели мои; а на рожах у всех, прежде злых таковых, начертана лишь мольба о прощении, о великом, Вселенском, всепрощении. О прощеньи — моём! Да я што, шепчу им всем зараз, да я ж вас, людие вы разнесчастные, я-то вас всех, скопом, давно-предавно да навеки простил! А вы-то страдаете! Вы-то жалитесь!

Господи, кто там, кто там... кто же там, за плечом у моей бедняжки Настасьюшки...

Будьто дуновение ветра пронеслось пред лицом, и увидал я далёко, в углу избы, а ровно на краю поля, на краю леса, на краю земли... на краю жизни... иную Жену. На главе у нея русой, гладко, лунно причёсанной, звёздный венец пылает. Я звёзды зачал считать. Счёл все до единой. Вышло — двенадцать. По числу Апостолов святых, смекаю, да значит, Жена-то не простая! Одеянье сверкает, златошвейками расшито. Стоит, не шелохнется. Перевел я взор мой вниз. И, Господи!.. вот ужас-то где!.. вместо половиц — бездна. Разверзлася, и все люди мои, и вражины, и многажды возлюбленные, яко на льдине, над ней стоят!

А там... подо льдом прозрачным... гады морские, чюдовища речные, каракатицы ползучие... пошевеливаются, всё ближе ко льдяной корке поднимаются, подвигаются... а ну как сей же час вспучатся, и пробьют ужасом крошечным тонкий морозный покров... и сгинут все люди мои, сгинут, как пить дать, но вот же, вот стоят, и лёд непрочный держит их, качает на себе их, и праведных, и грешных, и што мне-то делать, не знаю, то ли спасать их всех бросаться, со льдины той стаскивати, то ли поняти раз и навсегда: видение то, безумное видение, ибо аз есмь, грешный протопоп, како был безумным, тако безумным и остался!

Дымная, рваная рана Раскола. Тихо у мя на душе. Пусто и голо. И тьма во Звёздном Ковше. Нет ничего на земле, што не жаль покидать. Всех жаль; обо всех боль; в том и благодать.

И зрю — под русою косою у той Девы, со Звёздным Венцом на лбу, жаркое Солнце горит костром; и в огне вижу, вижу мою судьбу. Снова ви-

жу! Дым великий! Кости крыжа! Тише, голубка, тише... трещит, раскололась надвое, избяная крыша... Судьбу не прочитает по тяжёлым словам... МНЕ ОТМЩЕНИЕ ГОСПОДЬ МОЙ И АЗЪ ВОЗДАМЪ.

Гнев странен, и милость странна. Ничего нельзя объяснить. Вяжется, вяжется тонкая крепкая нить. Нам дано всё помнить и всё забыть. Даже тово, кто в чаше уксус протянет, когда возмолишься: пить...

Солнце, Солнце под густою косою! Я не один, нас нынче двое! Все люди мои, ково любил, с кем дрался, кем наслаждался, с кем, аки бык мирской, бодался, все смиренно стоят, а одна лишь Жена, облеченная в Солнце, на мя дерзко глядит, и такой ея праздничный вид! И што силится она вымолвить мне — не ведаю... зрю: Солнце над нею горит, и вся она стоит в огне...

И вижу, вижу, да глазам не верю: печалится, печалится обо мне...

Изречь бы мне словцо какое. Да нет, нету слов под рукою. Государева корона сияет больно и чисто. Наибольший самоцвет в ней — во лбу: сапфир небесный, лучистый.

Што бы вымолвить ему... што бы сказати...

А на языке всё вертятся словеса проклятий...

Их мне, грешному Аввакуму, в морду волчьё швыряли... и читал я судьбу мою по складам — по голодных ворон письменам — на разстеленном на века, снеговом одеяле...

Стою и жду, когда Царь-Государь мне прикажет всех веселить, прыгать в небеса скомороха не хуже. А может, напротив, велит молчать, уста на замок, не стони, не рыдай зазря, друже. И я, растерявшись, стою; не бормочу, не пою; молчу свечой в паникадиле людском, слезами медленно на шею и плечи стекаю; и припомнил, как на Печатном дворе Книги святые украдкою, зубы сцепивши, на старое правило правил, да тогда Господь мя не оставил, а куда Время кануло то, не ведаю, ох, не знаю...

Московская ли жисть, сибирская ли, всё одно умрём... Чем себя от хвори охранить?.. да вот, хлебау боярышник с имбирём... Сибирь, жимолость, имбирь, корни женьшеня живоносново... читай, Вакушка, ночами чти святые Книги, узоры неведомых буквиц кружевные и грозные... Жизнь сминается бабьим платом, заткнутым в торбу; ты всево лишь на тулупчике Бога седая



заплата, шерсти таёжной волчиная морда... Ягода, ягода кровью опять течёт, потоками в разверстое Время стекает — жизнь живая, святая между веками мёртвыми, меж по молитве оживающими веками...

Сколь я видал всево! Сколь чудесам земным дивился! С гор клубком волчьим катился, да вот ничуть не разбился... Миловал Бог, взошёл на порог, руки ко мне, грешному Вакушке, исхудалые тянет — напоследок обнять, и Ему исполать, и молиться сердце Ему не престанет...

А Никон? Кто ж ты такой, еретик? А ты мя еретиком обзываешь. И я уж не спору с тобой: легче смириться с приговорённой судьбой, легче жить в Мире так, будьто не горячая вера наша, не живущая, не живая. И написал я письмецо Царю! Што старая вера в небеси восходит, затмевая зарю! И сколь не гони ея, не охаживай батогами — она для Руси — самоцвет един, и старый Бог наш Исус — народу всему господин, хоть прямо, насквозь неа ходи, хоть округ ея топчися волчьими кругами! Нету жизни без веры! Без любви — нет! Батюшка, подъяв руки, кричит: слава Тебе, показавшему нам Свет! Вот и решай, приговорённый к смерти, што для тя весомей, важнее. Жизнь, великая жизнь! За неа когтями волчьими — держись... За неа молись, распластайся в кровавых слезах пред нею...

И осторожно, нежно обнял я Деву мою.

И так стояли мы оба у Бытия на краю, и чево ждали, сказать не могу, не умею, да и не буду; сие, людие, была просто жизнь, и мы друг дружке в ней шептали нежное, тайное: друг, держись, ведь тому, што мы есть на Божием Свете, с благодарностью Богу молись, одно это, слышишь, лишь это одно уже великое чудо.

\* \* \*

**(живая заплата)**

*мама завтра будет самый большой бой в нашем веке а который век наш я уже запуталась мама я не верю что мы человеки и человеки мы две росписи под куполами храма и храма мы два колокола на колокольне и колокольне и два звонаря в нас слепых чугунных колотят колотят а нам страшно железно нам медно и больно мы гудим над кровью мы плачем в полёте мама тебе*

*там хорошо так мирно спокойно я бы хотела умереть как ты да на всё Божья воля мама на земле никогда не кончатся войны а на небесах ни выстрелов ни крови ни боли я гляжу на небо мама и там глаза твои вижу они такие весёлые что даже странно ты наклонись оттуда мама ближе ближе нет то не глаза то слепая открытая рана и я кричу я воплю на весь Мирь проклятый на всю землю на все небеса пьяные от гнева поставьте мя на последнюю войну живой заплатой Господи Боже мой и Ты Богородице Деве*

\* \* \*

**(Аввакум и Никон, разговор)**

**Д**а вот он ночью ко мне и вошёл, в рясе простой, яко бедный чернец, монах. Я указал: садись за стол, будем вечерять; он сел. Я сначала накормил ево, пироги жёнка пекла, вино ягодное в бутылки темнело, капуста квашеная мятым жёлтым кружком в миске разлегался, разрежали ногу свиную копчёную, я спросил ево: и што же ты, Никон, Никитка ты жалкий, ко мне пожаловал? приласкать мя хочешь али поспорить со мною? Поспорить, ответил он тихо, усы и бороду от еды утерев, поспорить-повздорить, ну, ты ведаешь, об чём речь вести стану. Всё об том, о главном. Как вот ты крестишься, разнесчастный Вакушка? пятью перстами, четырьмя, аки диавол-насмешник, тремя али двумя? Како наши отцы, деды и прадеды крестились, како праотцы наши молились, тако и я, грешный, крещуся, ответил я и медленно, глядя прямо во зрачки Никону, перекрестился. Посмотрел Никон на мя искоса, так бык мирской на корову исподлобья, мрачно да тяжко глядит; на миг помстилося мне, што Никон есть настоящий бык, и на скотный двор я ево должен отвести, обмотав ему мощную выю верёвкой. Што же ты балакаешь, горемычный ты человек, вспомни всю толщу времён! Вот тебе двуперстие святое. И вот, налагаю на мя двуперстием Крест святой. Ведь так крестились, именно тако, не иначе, а ты вот не отвечаешь мне; ты чуешь, как твоя кровь в тебе течёт? Он воззрился на мя, глазищи, инда сова, округлил: не чую. А зачем это чуют? А затем, отвечаю, штобы ты Время из черепа отца твоего испил; тебе лишь мстит-

ся-блазнится, што ты из телес да костей скрипучих состоишь. А ты весь пропитан кровью, как хлеб вином Причастия, и разрубить тя топором али мечом надвое — вся твоя кровушка быстро вон вытечет, и Господь будет на это глядеть с небес, и душа твоя, из тела излетев, будет взирати на разрубленную плоть твою и плакать в небесах, и печалиться. Стой, Аввакум! А зачем ты мне это говоришь? А затем, друже, так отвечаю ему, што во крови нашей то Крещение течёт, во крови нашей та древляя, вечная молитва наша струится. А мы? Пошто мы скрещаем копыя, сжимаем в кулаках мечи и секиры, штобы убить, опять убить друг друга... да за што? за што, Никитка?! за ересь?! Какова же тут ересь, ежели мы праотцев наших наследуем?! А што такое ересь, Вакушка, хитро так спросил мя. И опять из-под лба глазами ворочает, выкатил буркалы, пытается зрачками-крючьями мя подцепить, да не за рёбра, не за шею, не за щеку — за душу дрожащую, трепещущую яко на ветру. Никон! Никон! Ежели бы ты чуял время тако же, как текущую кровь в себе, ты бы не делал тово, што сделал! Пошто ты Руси Раскол сотворил?! По кой надвое нас всех разрубил, а мы с тобою, Никитка, ведь были соседи, шабры, ты помнишь, мы с зимней горки на салазках катались! А в снегу голубом, синем, инда алмазном, кувыркалися, то лупили друг дружку, то обнимались! И пошто ты нашу детскую дружбу похерил! Пошто ты детство наше на костре пожёл! Сжёл ты, Никитка, в пепел всю радость нашу! Да, кровь льётся по всея Руси, то ты сотворил, Никон несчастный! Плачь! Кровь и душу, вот ты што потерял! А ты не Патриарх, нет, ты дитёнок неразумный, заблудился ты, Никон, овца ты заблудшая, душонка погибшая, ко Христу Богу припади, ко Ево ступням кровавым, на колени опустися да воскричи так: прости мя, прости, Господи Боже мой, за всё, што содействовал я грешново! Покрещуся, како крестился отец мой, дед мой, прадед мой и все предки мои! так и я крещусь, и по-иному не буду, хоть ты заломай мя, яко белую берёзу, хоть ты сожги мя в печи иль на широкой площади, мне всё равно! мне... всё... равно... Помолчал тут Никон, закрыл очи свои бешаные, вижу, губы ево шевелятся, и слышу шёпот ево, мерный, страшный: а што, друже Аввакуме, разве ты никогда не думал о смерти, и ка-

ково она придёт, насильственная али покойная, когда все года свои суждённые проживёшь, изживёшь время своё, изопьёшь чашу свою до дна, и тогда уже на груди накрест сложишь руки и попросишь ближних своих: похороните мя вон в том лесочке, али в том овражке, али на той высокой зеленокудрявой горушке над широкой рекой... сам себе укывище земляное выберешь. А может, ты в битве погибнешь, внутри кровавой сечи, а о том и не помышлял никогда! Да Русь нашу ишо будут сотрясать войны! без войны человек на земле не может. Как мир не призывать?.. ты-то, небось, на проповедях твоих во храме, посля службы, о мире людям балакаешь! А сам-то, Аввакуме, ужели никово в жизни не убил?.. не поверю!

И тут задумался я. Задумался, очи закрыл и вспомнил, как я убивал зверьё моё, птичьё моё робёнком, по просьбе отца петуху главу отрубил. Людей бил! Да кулачным, страшным боем. Жену мою, бедняжечку безропотную, однажды в кровь избил, за ссору ея с бабёнкой, коя у нас в избе обреталася и по хозяйству помогала-хлопотала; а позже на коленях прощения у нея просил, и сам пред нею, очумелой, во слезах дрожащей, на лавке разлётся и бить себя розгой солёной заставлял.

Никон! Никон! Все мы убиваем, да не только кровушку льём, а частенько друг друга словом убиваем! Псалом Царя Давыда оживит тебя и мёртвово. А стих глумливый да насмешливый, злобный, полный яда, грязью тя обмазывает и во самое сердце ранит; и сердце твоё, Никон, кровью изойдёт. Злословие тож убийство, и битва ево настоящая. Не разевай никогда рот твой, штобы вымолвить зло; тяжёлое слово, пригнетёт оно ко земле, да не тово, на ково направишь копьё ево, а тебя самово; угнетёт тя, возскорбишь, тако, скорбя, люди людей земле предают, и будеши душою твоею, яко лягушка разпростёртая, во грязи ползать, и тогда ты Богу взмолишьси: помилуй мя, Господи, по велицей милости Твоей! Прости мне мои прегрешения вольные и невольные! Зло другому, Никон, причинить зело просто и быстро, и не узришь, не поймёшь, не узнаешь, што ты ево стрелою выпустил в другово человека, и стрела-то летит, и вот, вот-вот, сей час вопьётся, да не в тело жертвы, а в душу страдальную; такое зло человеку

живому бояся причинить. Сколь стрел уже и ты, Никон, и Царь Алексей Михайлыч пустили в мя! безсчётно, Никон. А я всё терплю, терплю, да всё помышляю о мучениках святых. Они-то, они-то сколь терпели, а только радовались, в огне палящем, во смоле кипящей. Вот величайшее счастье, радоваться своим страданиям, радоваться обидам, што тебе причиняют люди, радоваться горю и ужасу, што в тебя зловеще направлены; радоваться Лобному месту твоему, дровам, из коих костёр твой уже складывают. Радуйся, смертный человек! ведь мукой твоей ты повторяешь страдания Господа твоего Христа! Никон тут так и дёрнулся, окинул взором мя, грешново, да вдруг как закричит мне в лице: а вот ты, протопоп, и правда мыслишь, што век вечный будут люди верить во Христа Бога?! А может, наступят на земле такие времена, когда и Бога самово с небес низвергнут, и Бога самово потопчут, изрежут ножами, избыют новыми жгучими плетями, сожгут в пепел, и пепел тот развеют по ветру, по всем временам! не допускаеши ты разве таково?! У меня даже волосы дыбом встали, яко языки огня. Жар охватил мя лютый; не знал я, што на ересь таковую Никону отвечать, а всё-таки разинул мой грешный, непотребный рот и вытолкнул слова единственные, только их и можно было произнести сию минуту. Никон! Никон! Даже ежели люди низвергнут Бога своево и уничтожат Ево, поелику всё на свете возможно убить, они одново не поймут: Бог всегда воскресает. Всегда. Побледнел Никон мой, уцепился рукою костлявою, в жилах набухших, за край столешницы, штобы не упасть: правду глаголешь, Аввакум, чистую правду! Бог возрождается всегда. Каждый Божий день. А наипаче во Пасху Господню. А всё же есть, есть загвоздка одна. Воскресение! да только вдумайся ты, глупец! разве оно будет? ево не будет так же, как и второво Распятия не будет! сказано в Писании: только Второе Пришествие! Замолк. На меня глядит. Ну чистый бык. Ну вот, выдохнул я, ты сам ответил, несчастный, на твой вопрос, сам твою ересь зачеркнул кровью твоей. Придёт диавол, мститель великий, во все времена жаждущий уничтожить Бога, а Он здесь. Отвалите, людие, камень придорожный, а Он там. Выйдите на берег реки широкой, холодной, а Он рекою пред вами, грешными, воды Свои разсти-

ляет. Небеса, облака, гроза, молния — всё есть Бог. Трава под ногами, и я топчу ея — Бог. Ладонь раскрываю, потную ладонь трудовую мою, а там малая капля пота трудовово; али то я ладонью слезу отёр, што текла у мя по щеке, и влага та — Бог. Зерцало небесное лик мой отражает. Я в зеркало небес гляжу и вижу там Бога. А может, себя. То ересь наилютейшая — себя мнить Богом! Но ведь Бог в каждом человеке, Никон, Никон, и в тебе сей же час, и во мне, а не видим мы Ево, не слышим, затоптали мы Ево в себе, молиться не умеем, торопливо бормочем и утреннее, и вечернее правило, потому я спросил тебя, слышишь ли ты ток крови в себе, ток крови, то суть письмена Бога, то голос Бога. Слушай, как сердце твоё бьётся, как сбивается ево стук, замирает, умирает, а потом возрождается внезапно; Бог есть жизнь; жизнь в тебе, жизнь в твоих детях, в детях детей твоих твоя кровь, и веровать они будут так же, как веровал ты и предки твои. Да разве же можно набело переписать Господа? Никогда ты не сделаешь тово, потому как все письмена Бога твоево красною волной поднимаются изнутри тебя, омывают тебя и всю Вселенную, в коей ты, грешный, живёшь.

И дышишь. Дышишь.

И молишься, пока тебе ишо дано молиться.

\* \* \*

**(кровь опять, она же Время есть)**

**К**ровь течёт, кровь дышит; крови биение; кровь, прощай. Сколь человек придумал разнообразных казней для самово себя. Виселица, кнут, удушение, кострище, костёр громадный до неба, и люди сгорают там, вопят, голос свой к небу устремляют, будто бы небо может их услышать и спасти. Много казней, штобы отнять жизнь у живово существа. А самое верное, это когда тебя разрубает мечом, копьём пронзают, пулю жгучую вонзают во хрупкое, нежное тело твоё, и льётся кровь, да, льётся кровь, и то, люди, льётся время. Кровь выливается из человека, яко из сосуда; сосуд был полон, и вот он будет пуст, а куда же выльется красное кровавое вино, што играло, бродило в нём? куда растечётся кровь? ково она оросит, ково напитает? кто захмелеет и возрадуется, от-

пивая из чаши скорбей ея? Ужели земля? Да, земля, ибо пролитая кровь в землю уходит, корни деревьев питает, камни и травы. А ежели кровь твоя льётся в текучую реку, растворяется алая твоя кровь в серебряной, бегущей мимо воде; ежели проливается на льдины, на снег, снег дымится, ведь кровь твоя горяча, она покамест ищю горяча, покамест она ищю огонь, кровь суть огонь, кой торжествует в тебе; кровь, это глубоко в тебе, внутри тебя горящий костёр, значит, время всегда горит, веки на костре сгорает, значит, время гибнет всегда. Она, кровь, помират каждую минуту, и каждый миг красный огонь бушует. Пламя вздымается до небес, то кровь твоя горит в тебе, то время твоё в тебе пылает, и ты не знаешь, што тебе содеяти с тем кострищем, то ли потушить ево, то ли дровишек в него подбросить. А как же ты ево потушишь?.. како сам-то себя не смог погасить, ни во младенчестве, ни в старости, тако не сможешь ты алую кровь твою пламенную сам выпустить на волю. Хотя знал я, знал, грешный протопоп, как жилы себе вскрывали девки от несчастливой любви; как топором, острым лезвием рубил себя крестьянин Михей, друг отца моего, когда все в доме у него от тяжкой хвори умерли, и скотина вся от болести полегла, и вот один он на белом свете остался, бедный Михей, и стал помышлять, како же у себя самою жизньюшку отнять, ну, пошёл в сараюшку, топор ухватил, сам над собою вознёс и сам себя тем топором порубил. Отец долгоноско соседа не видал. А когда прибежал к нему на подворье, забежал в сарай да узрел, тело лежит, всё в кровище, да, вот так себя дед Михей топором-то ударил, и вытекла чрез перерубленную жилу наружу вся ево жизнь, весь огонь ево вышел вовне. Где теперь огонь нашей крови горит? Сколь в битвах людей полегло, сколь огней погасло... все мертвецы, што на полях сражений лежат, все лица, глаза все мёртвые, заледенелые, што птицы хищные клюют, жадно, несыто выклевывают, это уже тела без огня, огонь вышел, вышел вон, да не вернётся боле в тело никогда. Народятся другие люди. Когда в битвах погибает народ твой, полководцы машут рукой, стирают слёзы непрошенные с лица да бормочут: ничево, бабы ищю нарожают. Остались, остались ищю у нас мужики, штобы со врагом

биться и за Царя помирати. И засевают новые полководцы новое поле телами да слезами; залито тучное поле кровью, кровь сочится под землю, достигает сердца земли; говорят, на крови трава гуще растёт, ягода слаще. Я часто смыкаю очеса, я слушаю, как бежит кровь во мне, не дай, Господи, ей когда-то потечи водопадом. Не позволяй, Боже мой, штобы разрубили мя надвое в битве жестокой, штобы главу мне на Лобном месте отсекали, штобы секирой порубили, копьём пронзили. Видал я, часто видал, како кровушка живо, споро из человека вытекает. А может, кровь-то и есть душа. Задумайтесь, людие, где наша душа обитает? сердце замирает, сердце колотится, сердце в пропасть падает, сердце мы чуем всегда. А вот кровь, о ней ничево не вем, она не слышна, и душа тоже не слышна, ни звука, ни шёпота... душа и есть твоя кровь. Иногда ночью открою глаза, лик мой на подушке к Настасье, жене моей, оберну, вижу спокойное, нежное лицо ея, уж всё укрытое рыболовною сетью морщинок, слышу, как она тихо дышит, изнутри излетает тёплый воздух, то дышит грудь живая, то дышит душа, согретая всею живою кровью, тогда касаюсь я плеча ея нежными перстами, и тихо, ласково, безслышно шепчу: спи, почивай, Настасьюшка, ищю придёт срок, и нам надобно будет с тобой помирати. А кто ково на тот свет проводит, мы не знаем. Али ты меня, али я тебя. Да лучше бы помереть нам с тобой в один день, как Петру и Февронии.

\* \* \*

**(сердцу больно)**

*Иду навстречу тебе. О, вместе, вместе, как Пётр и Февронья. Соль, пот на губе. О злоба, не тронь мя. Не тронь мя, ненависть, не бичуй мя, мечь. Во благодати чую счастье. Ты моя Благая весть, льёшься лилейным елеем, раны врачую. Иду. Битый камень колет ступню. Кровь мой путь пятнает. Молюсь тебе сто раз на дню. Ты настоящий, знаю! Ты живой. Я твоя дочь. Ты ясноглазый, брадатый мой пророк. Ты моя дверь туда, где плачет Распятый. Где стонет Он на кровавом Кресте. Где ветер бьёт колокольню. Где так сияет Он в высоте небес — не глазам: сердцу больно.*



\* \* \*

**(Аввакум и Царь)**

**Я** против Царя, Царь против меня, так было суждено. Так было заповедано, и молчим, а вроде бы слышим голоса друг друга. Што такое вера, вопрошает мя. Вера суть кровь, отвечаю. Што значит вера суть кровь, вопрошает. То значит, вера твоя течёт в тебе, омывает тебя изнутри, пропитывает собою душу твою, мысль твою и сердце твоё. А вот ты, по ком ты плачешь, в ком ты зришь будущее, спрашивает Царь. Отвечаю: я не пророк, я не провидец, вижу, што ты предо мною стоишь, Царь, и не просто ты, человек, стоишь предо мной, человеком; предо мною, верой, стоишь ты, власть. Власть, усмехнулся таково криво, а што такое, вопрошает мя, по-твоему, власть? Отвечаю: власть даёт тебе право распоряжаться чужою жизнью; а ведь жизнью может только Господь распорядиться. А тот, у ково на земле власть, мыслит так: человек этот мой! Эти люди мои, я ими владею, я их присвоил, они все под моим крылом, под сенью моего десницы, под моим знаменем идут, у моего шатра ночуют, и што хочю я, Царь, власть имеющий, то с ними и сделаю. Правильно мыслишь, Царь, говорю я ему, провижу я будущее, хоть я и не пророк. Цари сохраняются, и власть сохраняется. И никуда мы, люди, от нея не утчём, не скроемся. Вот ты давно на троне сидишь, а охота ли тебе на нём возседать? Хочется ли тебе в одной руке скипетр сжимати, а в другой руке державу? Вот, держи, тяжёлые то игрушки, и скипетр, и держава, круглая, как Луна али Солнце, слухи ходят, и земля наша тоже круглая, и земля, бают, округ Солнца вертится, а не Солнце вокруг земли. Лепят детишки по зиме снежную бабу, скатывают сырой волглый снег в огромные комья да друг на дружку те комья водружают, у них своя держава, снежная, и своя игра, сибирская, взятие снежного городка. Чаешь ково-нито повоевать? хочешь ты чужую кровушку пролить? Веру чужую из другого народа изъять? Што такое кровь пускать, не мне тебе объяснять. Всё ты прекрасно знаешь. Пытошных дел твоих мастера, палачи твои, сколь людской крови в застенках на каменные полы щедро пролили! Молчишь? Нечего сказать тебе, Царь!

И разлепил Царь губы вдругорядь: так вот бор-мочешь ты, ты слуга мой, Аввакум, а што балабонишь, и сам не ведаешь, а ты ведай лишь одно: власть сила, власть могущество, у ково власть, у того и казна. А у ково казна, полная сокровищ, злата, монет, каменьев самоцветных, тот и владыкой над Мiромъ может стать. Над Мiромъ, вопрошаю Царя, а ты што, мечтаешь стать владыкой над Мiромъ? А ты как мыслишь, пророк Аввакум, напророчить, што не будут Цари стремиться к мировому Царству, а всякий на своей землишке станет обретаться? Ну, насмешил мя, скomorох ты, а не поп, шут гороховый! А я-то смнил, вымолвил ты мне золотое пророчье слово! И вздохнул я тяжко и глубоко, и так сказал я Царю: да, Царь, запиши мя в юродивые, во блаженные, блаженство, вот высшая участь земная и небесная, но блажен тот, кто свободен от всякой власти, свободен от Царя, от наибольшево иерея, от воеводы, от устава, от приказа, свободен в шаге и во полёте, и летит вверх, наверх, на высоту сияющую, и любит Мiръ всецело, и крылья невидимы тово блаженно, и ширятся крыла небесные тово юродиво, и ходит он навряде бы по земле, а на самом деле летит он над землёй, летит птицей, юродивый суть птица, суть орёл, Царь, знаешь, я орлом себя часто чую, как будто распахнул я крыла и парю над землёй моей, да над чужими землями, таковыми прекрасными, ты, Царь, таких не видал никогда, а я, я, орёл поднебесный, видал... во снах ли моих, наяву ли, всё в писаниях моих кровушкой начертал... А знаешь, Царь, я ведь ночью пишу мою Псалтырь огненную, Псалтырь пламенную, Колесо Мiра катится по небу, по земле, по Раю, по Аду, и всё и вся подминает под тяжкий, чугунный обод свой, и режет, и давит, и визжит, и скользит, и опять катит, всё вдаль и вдаль, прошлово не жаль, и по Псалтыри моей едет, и Псалтырь мою переезжает и надвое разрезает, и льётся кровь со рваных листов, и псалмы мои сами орут, сами блажат, сами собою поют, уже без меня! Царь Давыд, он сам по себе, а протопоп Аввакум, он сам по себе! Но в ночи, когда власы мои от ужаса и счастья подъяты, и борода моя в неверном свете сиротьей свечи лучится Солнцем, полночным Солнцем, тогда я Царь, я и сам себе Царь, я и снегу великому за окном Царь! избёнка моя... да наплевать мне на нея! я Царь всея

земли и небес всех, и только пред Богом моим Господом я раб! Ево я слуга! Царь, люди, они рабы твои, а я раб Божий! Я вздохну глубоконыко и песню мою выдохну. Слушай ея, Царь, читай, гадай, што я в песне моей напороочил! А ведь напороочил... и люди в тех писаниях разберутся; моё дело маленькое, сидеть в ночи безсонно, до первых петухов, да перо в чернильницу окунати.

Песня моя хмельная романея, песня моя лёхкая пружи, пыщут прозрачные папарты, летят над цветами, над лугами, песня моя широкое небо, а мы с тобою, Царь, оба немые, а песня одна, она всё нам говорит, огнём бешаным горит.

Пристально Царь глядит на мя, спокойно я гляжу на Царя, вопрошает он: расскажи, што ты видишь во грядущем: вот говоришь ты, што не пророк, но ведь каждый человек пророк хоть однажды, хоть единожды он заглянет в то время, кое только ишо придёт. Закрой глаза, протопоп, да молви мне слово, што там, в тумане, зришь, я тихо буду сидеть, смиренно тебе внимать. А ты лишь говори, говори, не останавливайся, слово текущая река, слово текущая кровь, слово и счастье, и боль, ежели ты изрекаешь слово, ты уже им становишься... говори, што видишь! А я буду слушать; хочешь, запомню, хочешь, сразу же забуду. Он закрыл глаза, и я закрыл глаза; пред глазами моими явились иные картины, не те, што я всякий день воочию наблюдал: великанные каменные пирамиды, множество окон во тех каменных теремах, во огромных, до неба, дворцах, стоят высоченные, яко башня Вавилонская... вижу: да всё это воистину башни Вавилонские, и люди их выстроили нарошно, штобы в гордыне опять до неба добраться, а внутри тех башен, Царь, они и живут... хлеб жуют... вижу, в окнах лица мелькают, вижу, люди бегут в каменных ущельях между башнями страшными, до туч достигающими, люди куда-то торопятся, одежды на них иные, не таковские, каковые мы с тобой, Царь, носим: не кафтаны на мужиках, не понёвы на бабах, ах, навлекли на себя смешные, странные тряпицы, бабёнки все в коротких юбчонках, ноги все на виду-стыду, а мужики все в кургузых кафтанчиках, инда с чужого плеча. А кто идёт с ухмылкою на роже, кто хитро губёшки кривит... все с виду распутники, грешники, все греховодники, што ли, в сём будущем стали... отворачиваюсь, штобы не видеть таково по-

зорища, Царь... вижу ишо знаешь што? дворцы, битком набитые снедью и одёжкой, за блестящею прозрачной слюдой, за твёрдыми бычьими пузырями в ларях и в сундуках разложены дивные заморские фрукты-ягоды, мясо и рыба, икра и зелень, сотовый мёд и горы сахара, што это, шепчу, а это, говорят, рынок, таковский нынче у нас рынок... Царь Давид, ах, Царь ли Алексей Михайлов сын, и у нас тоже есть рынок! Да на ветру тот рынок, под небом, дождями, снегами да Солнцем! А здесь в каменных стенах, за хрусткой блёсткой слюдой и не дотянешься до пищи и питья, а только пальцем можешь указать да испросить: дайте мне, дайте! А што дайте-то, и сам не знаешь! будьто бы я, невидимый, подхожу к ларю, протягиваю руку и указую перстом на огромново, с колючками по бокам, осетра... или нет!.. што бы лучше выбрать... вот большое красное яблоко, яблоко, оно же и было съедено прародительницею Евою в Райском Саду! Да не боюсь я Змея! Да нет тут никакого Змея, а стоит в белом, ровно бы исподнем, одеянии торговец, ну, тамошний, значит, купи, да, купи, возглашает мне на чистом русском наречии, вот сколь рублей стоит то яблоко приобрести, а нету у меня тамошних денег, нету и нашенских, гол я как сокол, зачем я сюда пришёл, голода не чую, к чему мне красное яблоко, говорю я торговцу, да будет с тобою счастье, милый человек, наторгуй ты севодни хоть сколько-насколько, хоть целый сундук денег домой привези, весь запродай, продавец, твой товар! Дай мне только ложечку мёда! Он у тебя в горшке, мёд липовый, вон стоит, белый, золотистый... ох, чую, сладкий! Дай мне отпробовать! Смилоствился торжник, зачерпнул мне серебряной лжицей мёд, и ел я из той рыночной ложки будущий мёд, ел, обливался незнамым мёдом, тёк мёд мне на подбородок, на шею, и плакал я, и обливался слезами, и солёные слёзы мои в тот сладчайший мёд стекали. Это я так грядущее своё, Царь, на зуб пробовал, а грядущее-то, оно всё такое же, всё такая наша жизнь, всё такие же яблоки, всё тот же мёд, всё тот же торговец над яствами, дрожащ, яко царь Кошей, склоняется, ворожит да руками разводит, да к себе зазывает, штобы ево товар купили, вижу площадь, толкутся люди, како мошкара, я, Царь мой, как здесь люблю людей, так и тамо, во грядущем времени, их люблю, я вижу: грешен

человек, но я-то сам разве не грешен, и ты грешен, Царь, а ты бы мог жить в такой вот сумрачной Вавилонской башне, а я бы не мог, мне надо поближе к земле, мне надо землю нюхать, ноздрями чують, ладони на нея класть, тепло ея вбирать, они все, грядущие, камнем окружены, камнем да блёсткой слюдой, и нет тово счастья у них, што нам доступно. Береги, Царь, волю твою, волю и ветер; ты над ними не властен.

\* \* \*

#### (Аввакум и я. Поём псалмы)

— Отченька Аввакуме! Бог любит и судит всех нас, но ты, ты тоже суди меня, рассуди страдание моё, языком не могу ево вымолвить, от неправедных людей страдала, от злобных людей слёзы ливнем лила, и только шептала себе: Господи, ты есть крепость моя, зачем человеку враги, пошли мне свет неизречённый, пошли ясный свет Твоих очей, всем небом смотришь Ты на мя, и не только на мя, но в каждое селение заглядываешь, в каждом доме, Господи, есть жертвенник Тебе; веселишь Ты нас веселием Твоим, а гневом Твоим низвергаешь нас в тёмную огненную бездну. А мы исповедуемся Тебе и на гусях играем, на скрипках, на органах, Господи Боже мой, как же любишь Ты музыку нашу людскую! зачем же скорблю я, Господи! зачем скорбит и плачет скитальная душа моя! Отними от меня смущение моё, исповедуюсь лишь Тебе, а ты, отченька Аввакуме, в том мне помоги.

— Дочь моя, услыши все языки, што звучат во Вселенной, пойми весь народ твой, всех сыновей и дочерей человеческих, кто богат, кто беден, кто здоров, кто болен; уста пусть гласят премудрость, а сердце бьётся, Господи, рядом с Твоим сердцем. Открываю я сердце песне. Дочь моя, пой вместе со мной, тогда не убоюсь я дня лютово, и беззаконие отступит от мя, и враг не нападёт на мя, и дракон не пожрёт мя, и изменник не поднимет на мя длань свою, и жив я буду до конца моего, и не узрю гибели земли нашей. Каждый умирающий постигает премудрость, каждый умирающий становится равен Богу. Каждый, кто приблизится к смертному порогу,

хочет отдать чужим накопленное богатство своё. На небеса не унесёт он богатства своего с собою, не покладёт во гроб, а продолжит род свой, и наречёт именами детей своих, и оставит детям и внукам богатства свои, но превыше всево оставит им память и слёзы чистой души своей. Все мы скот Господень, все мы и овцы Господни, и кони Господни, и коровы Ево, темно мычащие, и бредём мы стадом от Рая до Ада, а потом от Ада до Рая, и в Раю, просветлённые, счастливые, умираем. Даже ежели мы на земле в Мирь иной мы пребываем. Да благословен будет живот человека, благословен будет Дух Божий! Чудо, што мы зрим свет дневной и звёзды ночные. Спаси, Господи, живые души твоя.

— Как ты учил мя, отче, вот так говорил ты мне: надо молиться Богу нашему, помилуй мя, Боже, помилуй мя! велика милость Твоя, щедр Ты к нам, очищаешь Ты нас изнутри и снаружи, избави нас от беззакония, изыми из нас грех наш. Так ты говорил, отченька, и я повторяла за тобой: Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих... и плакала я, отче Аввакуме, глядя на тебя, и всё время видела тебя маленьким мальчиком на руках у матери; отченька, а ты ведь еси и отец мой, и сын мой, ты избавил мя от первородново греха. А я ощутила себя молодою матерью твоею! ощутила радость и веселие... мать твоя умерла, давно в земле, радуются кости ея смиренные. Сердце твоё бьётся, отченька Аввакуме, и моё бьётся рядом с тобой. Так люблю я тебя, но об том не смею тебе сказать, а только Богу. Господи! Уста мои отверзеши, сердце моё открой, и вознесу я хвалу Господу и отченьке Аввакуму, отцу моему в Духе, а может, сыну моему молодому; за горами времён ждёт нас жертва великая, Всесожжение, да жертва в любви радость, жертва внутри счастья награда. Да, так; ты всё время учил мя: огонь есть благодать, и я за тобою те словеса огненные всё земное время повторяю, и всё небесное время буду повторять.

— Боже, спаси мя во имя Твоё! Спаси это дитя малое, неразумное. А может быть, бабу неведомую. А может, старуху древнюю; воззри на нея с высот безконечнаго времени Твоего, в небесах ведь времени нет, но когда-то совьют-

ся в свиток они, предсказанный Иоанном Богословом; тогда каждый человек узрит Бога пред собою. Господь, Ты заступник мой; заступись за моё дитя, заступись за доченьку мою, исповедую Тебе всю душу мою, и видишь Ты, как люблю я ея, и поднимаю на нея всегда и везде внутреннее Око моё.

— Растерялась ли я, потерялась ли в жизни великой, об одном прошу Господа моего: помилуй мя, Боже, помилуй мя! Отрубили мне крылья, обрезали снова пределы мне, их вынули из мя; душу живую заново вдунь в мя, как-то втеснил Ты дух в Адама, излепленного из глины Райской, и в жену ево Еву, что сотворил Ты, Господи, из Адамова ребра! Гимны готова петь Тебе! спать и во сне видеть Тебя. Когда буду, умирая, возноситься на небеса либо низвергаться во Ад, ко грешникам, Боже! на всю землю, мною покидаемую, хриплым голосом буду славить Тебя. Готово сердце моё, Боже, принять Тебя всегда. Да ежели бы я играла на всех звучащих призывно флейтах и наблах, на псалтыри и на гусях, на лире и на кифаре, на авлосе и на клепсидре, на кинноре и дудуке, я славилась бы музыкой Тебя, во веки веков, аминь. На всех языках пою Тебе славу, да возвеличится до небес милость Твоя.

— Доченька моя! все мы устаём от жизни окианской, все мы, по жизни вброд идя, где молча терпим, где заплачем; когда надо смеяться, смеёмся, даже ежели не смеётся нам; когда надо рыдати, дерзко прыгаем до небес да играем на гундосых дудках. Ах, до глухоты в дуду дуем, в бубны бьём, а надо, шtbody душа наша не глуха была, надо, шtbody душа наша зрячая была. Презираем людей, огорчаем, мучим ближнево, нечестиво обижаем, оскорбляем... любое наитвердейшее железо можно растопить на огне, жидким становится и льётся горячим серебром.

— Разбивается камень, точится ветрами и бурями, ржавеет железяка, сгорает древо, доски истлевают, дома пылают, веси и грады исчезают с лица земли, скорбь обнимает людей. И, егда плачут и сетуют в горе своём, они Господа поминуют, в умалении и умилении своём. Благос-

ловен Господь, не отринет Он горячую молитву мою, не отнимет милость Свою от меня.

— Да воскреснет Бог и разыдутся врази Ево, и да бежат от лица Ево ненавидящие Ево, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, тако да погибнут грешники от лика Божия, а праведники да возвеселятся! Да возрадуются пред Тобою люди по всей земле, славят Тебя в веселии, так молюсь я, дочь моя, каждый Божий день, в пути-дороге я али сижу в избе за столом, еду вкушая, али повалюся в постелю мою, рядом жёнка моя; молчат моя супружница, она уж помолилась. А за окном дождь, а за окном снег, шумно воздыхают во хлехе животные мои, курочка квохчет, яичко несёт, и так идёт жизнь, и так идёт дождь, и так идёт возлюбленный снег, и нет мне корысти ни в чём, и не соблазняю себя блеском золота-серебра и камней многоценных. Вот смотрю я на горы Сибирские, горы большие, горы лесистые, горы тучные, звери и птицы густо населяют тайгу, рыбы плещутся в реках: омуль, ленок, сиг, таймень, хайрюз, во Байкале славном, святом море, кишат-играют тысящи тысящ, тьмы тем живых существ; на земле веселятся и горюют, рождаются на свет, любятся, ползают, летят, вьются, толкуются, и уходят с этого света на небеса. А на небе Царь мой истинный, Бог, и шествует Он, неприметный, среди звёзд, ярко горящих. Не зрим мы Ево, когда Он идёт, идёт среди нас, идёт мимо нас, сильный, прекрасный, вечный, любимый нами; неведомые люди, все молитвенники земли лишь Богу молятся, лишь Ему песню поют, и Солнце восходит на востоке каждое утро; так Господь восходит над землёю. Бог, доченька моя, во святых Своих и во всех делах Своих.

— Родной мой, близкий сердцу моему отче Аввакуме! што есть правда среди людей, а што есть ложь? што может смирить клеветника и спасти от хулы убийственной сынов и дочерей Божиих, бедных и убогих? Вот Солнце возбегает на небеса, и падает на землю с небес Золотое Руно; вот тучи собираются в зените, и низвергается вода на землю, хлещет ливень серебряной стеной; вот нисходит ночь, и выкатывается на небо ясное белоликая Луна.



Лик ея не всегда снеговой: то жемчужный, то киноварный, то алый, то нежно-голубой, яко Богородицын плащ... мы не можем вообразить, земные мы жители, што наступит таковое время, когда Солнце и Луну отнимут у нас. Ведь их на небеса Бог поместил. Бог владеет землёю от суши до суши, от моря до моря. Эфиопы, раскосые китайцы, сборщики чая, южные солнечные народы, иудеи и арапы, гишпанцы и италианцы, угрюмые варяги, што живут далёко в северных морях, на скалистом острове Туле, аравийцы и африканцы, индусы в чалмах, што катаются на царственных слонах и ласково беседуют с полуночным тигром, глядя зверю во горящие глаза, когда медленно, мягкими лапами перебирая, шествует могучий зверь во чашобе, во зелёных, изумрудных густых зарослях — все в Бога веруют, только все называют Ево разными именами. Прекрасные плоды, сладчайшие яблоки и вишни, чудесные съедобные коренья, што произрастают в земле, впивая ея живительные соки, душистые сладкие ягоды, они же висят, манящие, на кустах и стеблях, всё для счастья человека Господь устроил, и каждый народ пусть хвалит Бога по всем делам Ево. И я, отченька Аввакуме, Бога хвалю, восхваляю вместе с тобою; давай нынче вместе, на два голоса Ему хвалу нашу споём!

— Исповедуйся мне, дочь моя, исповедуйся мне, но прежде всех век исповедуйся Господу Богу твоему. Желашь ты правды, ты возжелай ея сильнее сильново; желашь ты возвыситься над временем, иди сквозь время безстрашно, не убоая ничево. Зима умрёт, снега сойдут, льды растопятся небесным огнём, щедрым золотом Солнца, и возрадуются живительному теплу все живущие на земле, в ея лесах, в ея полях, на берегах ея рек, озёр и морей. Сменяются времена года, вращается медленно и тяжко годовое колесо, и век колесом поворачивается, и тысячелетие, а человек пребывает всё таким же грешным, всё так же предаёт, убивает, лжёт, всё так же, судьбою и людьми наказанный, повергается ниц, пытаюсь пред Господом горько покаяться. Господь слышит покаяние ево, Господь подносит чашу Свою к устам грешника, а в ней вино, это

кровь Ево, протягивает на живой ладони Своей хлеб, душистую плоть Свою, и тихо шепчет: вкуси, несчастный грешник, ты прощён, прими тело Моё и кровь Мою из рук Моих. А Я всегда буду с тобою. Аминь.

— Кто я такая, отец мой, кто я такая? Я самая малая из тварей земных, самая неприметная, самая терпеливая и смиренная. Нет, конечно же, не самая! Так ты, человеце, тоже себя хвалишь. А ты должен воистину смиренным быть, человек, о себе ни слова не говорить хвалебново; а мы-то всё о себе да о себе. Да потому, што весь Мирь в нас, а мы разлиты, инда молоко ли, кровь ли, вода талая, во всём Мире. Вот пою я Псалтырь, играю себе на гуслях; вот когда нарождается новый месяц, вострублю я в трубу: радуйтесь, людие, пришёл день праздника, День Новаго Мира! Бог является к нам каждый новый день. Свидание с Ним сладко, и светло сияющих забирает Бог от нас, накрывает, яко канарейку, весенним цветочным платом наше дотла сожжённое время, избавляет нас от мучений, отворяет нам Тайны Неведомые, исцеляет раненых нас от наших искушений и от чужих жестокостей. Я свидетельствую, отче Аввакуме: я видела Бога, Бог еси ты, Бог есть каждый человек, противу коево стоим мы на земле и глядим ему прямо в лице ево. Бог есть вся земля, ибо Он по ней, по земле, идёт лёжкими, горящими ступнями. Бог соединяет друзей и врагов воедино, благословляет их, зная о том, што Страшный Суд придёт для всех, и враги становятся друзьями, и друзья льют слёзы о врагах своих. Сладше мёда жизнь, да, но я хотела бы ощутить на губах вкус смерти моей, как я буду уходить, куда я уйду, как буду я умирать? Ужели и там, за порогом, тоже Божий Мирь, и там, в неведомой тьме, тоже царит наш Бог, мой Бог, твой Бог, и я возымею великое счастье опять помолиться Ему?

## ДЕВОЧКА У КОСТРА Фреска третья

*Милосердный Государь... Молим твою благочестивую державу и плачемся вси со слезами, помилуй нас, нищих своих богомолцев и сирот, не вели, Государь, у нас предания и чину преподобных отец Зосимы и Саватия переменить, повели, Государь, нам быти в той же старой вере, в которой отец твой Государев и все благоверные Цари и великия князи и отцы наши скончались, и преподобные отцы Зосима, и Саватей, и Герман, и Филипп митрополит, и вси святии отцы угодили Богу.*

*Аще ли ты, великий Государь наш, помазанник божий, нам в прежней, святыми отцы преданей, в старой вере быти не благоволишь, и книги переменить изволишь, милости у тебя Государя просим: помилуй нас, не вели, Государь, болии того к нам учителей прислать напрасно, понеже отнюдь не будем прежней своей православной веры переменить, и вели, Государь, на нас свой меч прислать Царьской, и от сего мятежного жития преселити нас на оное безмятежное и вечное житие; а мы тебе, великому Государю, не противны; ей, Государь, от всея души у тебя, великого Государя, милости о сем просим и вси с покаянием и с восприятием на себя великого ангельского чину на тот смертный час готовы. Великий Государь, Царь, смилуйся, пожалуй.*

*Послание соловецких иноков  
Царю Алексею Михайловичу*

### (Аввакум и Смерть. Предчувствие)

**Я** бы хотел умереть не как святой, но я хотел бы узнать, когда ко мне будет приближаться моя смерть. Я не отважен, мя объемят страх. Я боюсь, Господи Боже, помози мне, ибо я вижу и знаю, пришёл мой конец, так бы я желал сказать пред уходом моим царственным али нищенским да ничтожным. Каково оно, сие царство, там, на смиренном кладбище, во вечной теремной горнице усопших праотцев? Тебя увозят во гробе сосновом: последний твой путь по земле. Кто чует приближение часа своего, егда жалостливо просит: отступися, смерть, али

покорно: встречаю тя, смертушка моя; она привычна нам, откупиться бы, да не отсыпем мы ей во костлявую горсть никаких грошей, ни меди, ни злата, штобы выпустила она нас из ея когтей. Совершаем обряды, поём исправно, людие, и служим панихиды да литии над опочившими, над мертвецами. При всём честном народе возрыдаем о них. Бабы воют; ахти, плакальщицы, плач ваш велик есть, смерть, быть может, то свадьба, то одр брачный, тайнозримый брачный чертог и всю жизньюшку жданная Брачная Вечеря; ты обнимаешься с Богом самим; а телеса, што ж, они спят в земле да спят. Плывут в песчаное да глинистое подземье во дошатых лодьях. Час придет — восстанут на Страшном Суде. Верую... Во што я верую? в Ад и Рай? Да, я верую во Господа моево, в Ад и Рай. Я хотел бы, штобы от Ада земново до Рая небесново провёл мя Тот, Кто безсмертен воистину; объяснить Он лишь всё мог нам без истления мысли Своей, во древлих книгах киноварными знаками записанной; а нынче што? Теперь все святые дома Господа нашево Исуса, все храмы Господни осквернены. И война! Война! Никонияне нам вопят: вы еретики! еретики! ересь! ересь! Мы им в ответ кричим: еретики-то вы, еретики и нечестивцы! погубители земли Русской и веры Русской! Ересь ваша, ересь!

И вот война началась. И вот война идёт.

Огнём, дымом, пламенами неистовыми бежит война, катится по родной земле.

Богородице Дево Марие, пусть война! я покорен. Я опускаю главу пред неведомыми временами, а вижу, всё вижу огонь. Я хочу огонь мой, красново волка, приручить. Я хочу приручить, яко диково зверя, мою смерть. Я о безсмертии людям хрипло глаголаю во храме. Недаром же я протопоп; я под защитой у всех моих святых, у всех святых моево рода, ибо люди рода моево святые. Молитися святым мертвецам, вот подлинное поминание! Сколь погостов разрушено, сколь гробниц разграблено! Мёртвые лежат, окутанные молчанием. Внутри ограды возводят новые кресты, кладут гранитные плиты, усыпальницы Царей не похожи на могилки бедняков; а иду по лесу, собираю грибы в корзинку и вижу: крест-голубец высится в одиночестве, никто к нему не подойдёт, никто колена не преклонит, нет; никто пред ним не помолится.

Как быть живому, живущему? Какие захоронения, какие погребения ждут павших в бою? Их белые святые кости так и истлевают во поле под недрёманным оком вечного бездонного неба. Вокруг любой храмины кладбище имеется; там каждый лежит во своём гробе, яко в своём доме; недаром гроб наш зовётся домовина. А как быти тем, кто погребён во братской могиле? Жизнь и смерть, тако тесно, неразъёмно связаны они. И вот неровён час, чую, она явится ко мне в гости. Я должен говорить с ней; какая она на вид? Череп голый, костяная клеть, накинута на плечи костлявые дырявая холстина? А может статься, она девица красная, закрыла ввечеру оченьки свои, а ночью тихо ко Господу отошла, и не поняла, што умерла во сне. Како быти во посмертии, што тамо делати? Вижу огонь. Вижу мою смерть. Слышу, бьёт мой час. До последнево вздоха жизни моей сохранию память о жизни. Память оборвётся, и свечою нагорелой сгаснет бытие. Каждово ждёт конец. Каждый помнит: будет Второе Пришествие, и Страшный Суд в конце времён, когда все народы, все люди, вся земля, все до единово прочтут Книгу жизни, разберут по слогам Всемирную Псалтырь, где сияют и рыдают всемирные песни; там начертано киноварью-кровию всё, што мы пели, о чём плакали, ково любили, с кем сражались, сие суть Псалтырь войны и любви, смерти и возрождения. Одиночество есть искусство умирать. Я знаю. Читал то между строк Псалтыри великово певца, бессмертново Царя Давыда, богоравново песнопевца; в иные сферы, Царю Давыде, ты свободно, лехко возносился, да о смерти, яко все мы, в тишине помышлял. Я видел однажды образа чудные: далёко в Сибири стоит старая церковка на бреге Байкала, сработана топором без единово гвоздя; вошёл я туда и увидал на иконе Иуду Маккавея, и намалёвано было на златом горнем свете неведомым богомазом: **ТО ИУДА МАККАВЕЙ МОЛИТСА ЗА УСОПШИХЪ**; а другая икона изображала Око Недрёманое, Вселенское Око, острый Глаз Божий, кой зрит насквозь весь Миръ, Вселенную всю, радостную и страшную; а на третьей иконе, близ самово олтара, близ Царских Врат, на северной стене, я увидал Страшный Суд: внизу иконы Христос спускался во Ад и шествовал по Аду в нарядном хитоне, половина хитона красная, половина хи-

тона синяя, а обочь Ево грешники коленопреклоненные тянули к Нему руки, а выше, над главою Ево, сидел Он сам, молодой выюнш, отрок прекрасный, а рядом с Ним, ошую, юная Мария, а одесную Ево пророк Илия, и спокойно и печально взирали они, Предвечные, на праведников и грешников.

Все умирают, бессмертных нет. Страх пред Адом сильнее страха пред самою смертью. А страх пред болезнью, пред страшной заразой? вот идёт чёрная чума, вот идёт Великий мор, и люди, вдыхая отравленный воздух, уже приговорены. Мы заклинанием взорь: уйди обратно! Иди туда, откудава пришла! Мы хотим праздника! Мы смерти не хотим, потому и похороны мы обставляем яко праздник: мы празднуем уход человека, мы угощаем всех, на поминки притекших, вкусной едой, мы пьём хмельное питьё, мы даже обнимаем и, яко во Пасху Господню, при погребении целуем друг друга, утешая. А слёзы всё льются и льются. Есть ли вера в вечную жизнь, когда рядом смерть? Пред тобой длится в веках только смерть, а жизнь не продолжается никогда. Да, но я, грешный Аввакум, боле жизни люблю жизнь. Я люблю ея тако же, како люблю смерть. Не раз я глядел в безумный и безглазый лик смерти моя, простирал к ней руки и рек: здравствуй, возлюбленная моя, вот я к тебе пришёл! Прими мя таково, каков я есть! Нет греха на тебе, ежели ты таково сильно любишь Бога, ведь смерть не враг жизни, и может статься, то не враг Бога, может быти, то другой лик Бога, тако же, како Луна во ночных небесех висит серебряным лдяным яблоком, и смотрим мы в сияющий светлый лик ея, што там, за ея затылком: новое воплощение Духа Божиево, собрание неизречённых ужасов, общее благословение, всякому отрада? Обратная сторона, всё так же, како и при Христе, мы не видим ея, и она не видит нас; яко Луна в ночи, приходит смерть. И жизнь всё та же; человек уходит в землю, а та жизнь, коею жил он рядом со ево близкими, роднёю ево быстренько забывается; семья ево старится, и пред нею уж разверзается вечная пропасть; а не желает человек старости покоряться; старухи бабёнки щёки себе свекольным соком мажут, губы морковью красят али пылью битово кирпича, всё стремятся вдругорядь девицами глянуть; трудно духу смириться со словом,

а со временем сдружиться ищю труднее; тяжко сказати самому себе: когда-нибудь тебя не станет. Люди, умирая, просят: положите мне с собою во гроб любимую безделушку; ожерелье, што мать дарила, крестик нательный бабкин, охотничий нож отца моево, наливку, кою дед мой готовил, в погребице запрятана она, в погребице, выньте ея оттудова, налейте в бутылъ да мне во гроб и засуньте. Да помолитесь, помолитесь за мя как следует! Да на поминках моих выкутью с изюмом, блины с грибами, кашу гречневую, щи кислые ешьте, за обе щѣки уписывайте, да молитесь, молитесь Господу и друг друга боле не проклиняйте. Пред лицем смерти все равны; все пред смертию народ Божий. Вот храм; сей дом Бога для тово выстроен, штобы мы, внидя туда, почуяли себя в гостях у смерти, тут она хозяйка, во храме, и мы, живые иереи, глас возвышаем над хором живых и наполняем радостью восклицание наше, литургисая: СЛАВА ТЕБЕ, ПОКАЗАВШЕМУ НАМЪ СВЕТЬ! Разве, смерть, ты свет? ты всегда была тьмой, во все века ты была тьмой, и никаким сокровищем от твоя тьмы нельзя было откупиться, а люди всё шли и шли паломниками во святые места, вымолить у Бога ищю кусочек жизни, отодвинуты тьму молитвой бедной, насущной, инда ржаново горбушка. Кто и завещание загодя писал, а я бы хотел, штобы могила моя была безымянна, и завещания никаково не зачну строчити; то, што я пишу, есть моя жизнь, то, што я пою, есть моё бытие, а там, куда я скоро уйду, нет ни гласа возвышенново, ни гушиново пера, ни чернила густово, ни слѣзынек среди ночи: помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей. Думал я: ах, смертушка моя! Долго думал я о святых. Почему простой человек вдруг становился святым? Да потому, што он есть возлюбленный смерти. Он обручился с ней, он шѣл с ней бок о бок, все они, и столпники, и преподобные, и святые мученики, и страстотерпцы, и равноапостольные, все они жили словно бы в семействе многолюдном, огромном, но уж не здесь, а за гробом; и вот нынче за гробом существует сия огромная семья, семья святых, их тысяща тысящ, их тьмы тем, и я стал священником не только потому, што отец мой Пѣтр батюшкой пребыл в сельском храме, а и потому, што хоть служкой маленьким, рабом неприметным к тому семейству

безсчѣтному святых, в земле Русской и в иных землях просиявших, чаял прилепиться. Вот пою я псалом, будто бы из теста жаворонка Пасхального леплю; жѣнка моя Настасья из замеса тово детишкам разные забавки лепит, и жаворонков, и ёжиков, и белочек, и рыбок. А я взираю мальчишкой малым на то семейство святое, што за необъятым Всемирным столом, усыпанным звѣздной мукой, восседает, и меж собою они радостно перекликиваются, и меня, иерея, псалом поющево, мальчика, под столешницею, навроде кота, сидящево, никто не видит.

Смерть, она сей же час войдѣт, готов ли я встретить ея, готов ли я сказать себе: я во сей миг умру, уйду навсегда, навеки, и гусьим пером моим поставлю во книжище точку: то конец. В моём конце моё начало. Капает на бумагу не чернило, кровь. Я пою о смерти, не знаю ея. Имею ли я на песню ту право? Смерть, она моё утешение, и она моё устрашение; она моя молитва, и она мой вызов небесам, моё с ними единоборство. Я вступаю со смертию в борьбу лишь для тово, штобы прижати ея к моея груди, крепко обнять и сказать ей: смерть, я твой! На лице моём грядущая смерть вырезает новые морщины, то мои святые письма. Она изрекает мне: я приближаюсь, я тут, я уже рядом; но я всё медлю. Я перейду черту, когда огонь ко мне вплотъ подползѣт, когда цвета крови станет моё нищее бытия. Когда-то матушка и батюшка породили мя на свет Божий, и каждую малую минуту я медленно, медленно, по капле отдавал кровь жизни моей Мѣру, в коем жил. Я медленно престававал жить, я и сей же час престану, когда совершится окончательное превращение, обращение моё в чистый Дух, посвящение моё небесное, рукоположение моё звѣздное. Часто чую: плыву в лодке. Хочу спеть смерть, да глотка моя слаба. А лодка моя крепка. Это не тот дощеник, што посреди сибирской реки жалко утонул; крепок я телом, крепок духом, закрываю глаза и пробую представить себе пустоту; я охотник, вот заяц прячется за моею спиной. Я оборачиваюсь, заяц прыгает вбок. Я хочу скинуть со плеча лук со стрелой, а заяц земной стремглав убегает от мя, зато сбоку подходит, неслышно скользя по тропе меж травы, страшный зверь небесный, цветом мрачнее тучи; егда небесный волк прыгнет,



тогда я перейду границу, острее лезвия, между Мiромъ и Мiромъ. Мысль моя остановится, и замрёт всё сущее без движения. А душа зачнёт из тела на волю выходить, и, возможно, она выйдет прямо в память небес, взлетит, радуясь Великой Свободe. Смерть яко любовь. Нельзя объяснить любовь. А любил ли я? Любил ли я мою жёнушку Настасью? Может быть, я во всю мою жизнь любил единую мою духовную дочь, мою Федосью Прокопьевну болярыню. Ах, болярыня, болярыня, што ж ты со мной содеяла? ты первая ушла туда, во тьму надмирную; ты первая породнилася со смертию; она тебе крикнула: войди! — и ты вошла. И теперь ты там, по смерти, стала маленькой девочкой, и играешь с великой Царицей Смертью, ровно с робёнком. Нет, это мать Смерть играет с тобою, яко с дитятей, яко с милой, любезной доченькой своей. Желанная ты для смерти игрушка, Феодосия Прокопьевна! Како же нам быть? Я вижу мою смерть, я зрю огонь, но я не знаю, егда сгорю; аль мя на казнь повлекут и ко столбу цепями привяжут, дров горою навалят под натруженными ногами моими; аль изба восплает, свеча упадёт на пол, и затлеет кружевной подзор, и огонь обнимет наше с Настасьей супружеское ложе, и закричат благим матом детки, да поздно будет выбегати на волю и спасться; гореть до конца, до презренново пепла станет моя изба. А может, из мглы времён восстанет сруб, в коем не предавшие веру отцов подожгут себя, штобы в огне ко Господу Богу уйти! Подожгут сруб тот скорбный, лодью погребальну, с четырёх сторон, штобы ярче, громче, быстрее сгорел! а вдруг, людие, я сам есмь огонь, и сам на себя смерть мою навлекаю, такое тоже бывает! Тебя родили на свет и уже приговорили к жизни, и родимое пятно твоё на спине али груди, это смерть твоя, на тебе неотвратимым знаком проступает! Я частенько думаю, как человек убивает человека. Да можно ведь убить не токмо копьём али мечом, огнём и пулею, но и словом можно убить; даже песнею убить, с коей воины идут на смерть. Война! Она началась. Она идёт. Люди опять убивают людей. Во имя жизни? Во имя смерти? Смерть пытается обнять дитя, похитить девушку, забрать с собою в чёрный мешок немощново старца. Я вижу голый череп и разумею: то мои кости. Я вижу их из неведомово

времени, в коем никогда мне не жить. У мя нет глотки, штобы спеть иному времени песню. У мя нет памяти, штобы ея запомнить и отдать незнамым людям. Я растерзан, сердце моё разорвано, Бог мой во тьме крошешной, скрылся от мя, севодня, именно севодня Он спустился во Ад, а смерть, она поднимется ко мне из Ада. Я должен обнять и смерть, и жизнь. Я слышу, как мне кричат: не умирай, Аввакум! Остаься с нами! На земле таково прекрасно, здесь светит Солнце. А ты сам закатишься, яко Солнце, и на Мiръ опустится мрак. Не умирай, значит, Солнце! То я, я, так выходит, подлинный свет, я есмь и подлинная скорбь. Сие тоже я, я; я улыбаюсь, я смеюсь над собой; я знаю: вот сей час раздастся стук.

\* \* \*

**(военные колядки)**

*Я иду по дороге войны. Сбиваю ноги в кровь. Ход, ведь это и есть любовь. Не останавливайся! И я иду. Мальчик держит мя за руку на ночном холоду. Обочь руины. Расстреляно всё. Святки. Катится звёздное Колесо. Знаешь, мне уже всё равно, быть или не быть; но мальчик ведёт мя, просит есть и пить, на моём родном, на чужом языке, моя рука в его руке, его малая жизнь дрожит в сожжённой жизни моей, он мне песню поёт, святочный соловей, так мы колядуем походя, по пути, я не спрашиваю, далеко ли идти, соловьиные звёзды, алмазный придел, люди Мiръ расстреляли, никто уйти не успел, а мы идём, под ногами снег, запомни мя, мальчик, прежде всех век, я твоя мать Жизнь, нам мать Смерть не нужна, постелем белую скатерть, и кончится война, споём у калитки колядки, нам вынесут красные пироги, идём с тобой без оглядки, рисуют звёзды круги, так пахнет кровью ли, дымом, горелой доской бытия, идём, мой мальчик любимый, колядка живая моя.*

\* \* \*

**(Аввакум и мать Смерть. Свидание)**

**Т**ы пришла, ты всё-таки пришла. Я не могу тебя понять. Ты последний мой вздох, али

одна ты стоишь на самом краешке моей жизни, али ты што начинаешь? Ты убиваешь мя. Да, ты опасна, хоть и улыбка на твоих устах; я крепко пожимаю твою протянутую руку: заходи, моя нежная, потолкуем. Я не вижу тебя и одновременно вижу; теперь наступит война или немного времени спустя, после тово, как ты мя забереешь с собою, всё равно; ведь война уже началась. Мира прежнему нет. Времени старово нет. Ты моё время. Повремени, смерть, повремени; то смерть не моя, времени, а не меня на земле. Время повернётся, и я уже не вернуся. Смерть разъедает губы мои рыдальной солью и угрозаливо бормочет мне: в миг, когда я возьму тебя с собой, тебя уже не будет. Посему помни твои последние вдохи и выдохи. Пока ты помнишь — ты дышишь. Пока ты дышишь — ты помнишь. Помни войну людей с людьми! Помни войну со мной! Некто там, вдалеке, за морями-окиянами, в незнаемом времени, слышит, как в последний твой земной миг громко бьётся твоё безумное сердце. Опасна смерть лишь для живово: горе, боль, ужас. Для живово, живущево она наступает здесь и ныне, и она тихо кидает прощальный шепоток: да, вот ты готов; и вдруг я понимаю, я ищо не готов, я ищо не допел мою последнюю песню... песню... Я ищо не допел мою стихеру, мой ирмос, мой любимый кондак, мой любимый Пасхальный тропарь: Христос воскрес из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав! Мои волосы седы, моя борода белее льда, и мне уже всё равно, како дрыгаются моя рука или нога, целый али отрезанный мой язык како шевелится и рыбою прыгает во рту, и я могу глаголати, словом, яко мечом, бити, али молчанием наказан до самого твоево явления, смерть?! Отрубят мне руку, ногу, четвертуют ли, ежели выживу я, ежели выживет моя мысль и будет биться внутри мя сердце, значит, ищо нет тебя, смерть! Страдать, любить жизнь, испытывать боль, сие значит жить! Смерть, ежели ты моё превращение, ответствуй: я престану быть человеком и в тебя, неведомую, обращуся? и она отвечает мне: да! Я твоё превращение, твоё обращение в веру мою, в то время, где нет веры, в то пространство, где нет жизни, но там, знаешь, открою тебе тайну, там даже смерть дрожит пред великим молчаньем Вселенной. И дрожит мой голос: каково то мгнове-

ние? каким я буду ево ощущать, страшным али блаженным? как я ево переживу, переплыву? кто проводит мя до Порога? кто будет держать мя за руку? Настасья, дети? Я же останусь совсем один! Един яко перст! Родненькие мои станут будто рядом, близко, и, однако, они очутятся далёко-далёко. Меж мною и ими будет лежать целое небо. Они будут глядети на мя, ищо живово, а я уж буду дышати землёй. Где я буду пребывати, смерть моя, скажи, в те поры, како ты придёшь ко мне; егда придеши? Шепчет она: никто из смертных не ведает о моём приходе, только тебе я скажу об том.

Огонь. Огонь.

Это всё, што я могу тебе открыти; ты здесь, и ты уже не здесь, ты прозрачен насквозь, и ты есть величайшая тайна, ты всё, и ты уже ништо, с тобою никто не уйдёт, тебя никто не встретит. Я кричу смерти: и даже Бог не встретит там мя, грешново?! там и тогда, егда я перейду Порог?! Усмехается смерть: нет, там, где царствую я, никакого Бога нету в помине, там есть только везде и нигде, нигде и везде, никогда и всегда, всегда и никогда. Я нахожусь на грани двух миров. Узнаешь их. Кричу ей: смерть! Я хочу узреть Тот Мирь, но будет ли у мя там зрение? Будут ли у мя глаза и уши? Будет ли у мя любовь и ненависть или же не буду испытывати ничево? Како ощущать ничево? Како мыслити ни о чём? Так значит, смерть, ты ништо, и всё зряшно, о тайне твоея людям века напролёт балакать?! Есть тайна, отвечает она, ты не поймёшь нынче, лишь когда переступишь Порог: умирать лехко. Тяжело лишь думать обо мне и приближаться ко мне. Ты хочешь жизнь возвернуть, ея дотла проживши? Кричу: не подходи ближе! ни шагу ко мне! я ищо не спел мою песню! Я ищо не возгласил мою последнюю проповедь! Во имя подлинново Христа Бога ты всё врешь, смерть! Бог есть! Он есть даже там, где Старец ложится сам во гроб, там, где сожигают селение и крестьян ево в кострище войны! Змеятся губы ея в ухмылке: хочешь от мя убежати? Да, хочу, кричу! Ты можешь попробовать то содеять, отвечает она мне хитро и вкрадчиво, время твоё бежит быстро, ты не знаешь ни дня, ни часа твоево конца. Ты только зришь огонь, огонь предостерегает тебя, огонь страшным, вопящим хором прозвучит тебе, а ты знаешь ли о том, человек Аввакум, што твоя

смерть слагается из множества людских смертей, што она не только твоя, а я, твоя смерть, пропитываю и пронизываю собою каждую минуту всяково, наималейшево людсково существования? Жизнь, знай это, останавливается, ежели нет конца; ежели есть конец, то есть и начало; жизнь без конца прекращается и бесконечно рождается, и для тово, штобы жить, надобно умирать; вы, люди, только и делаете, што умираете, и другово занятия у вас нет; я ваша подлинная Царица, а не Царица Небесная, и мне вы должны молиться, а не Богу вашему.

Я внезапно и я длось, я полна надежды, и я безнадежна, я непрерывна, и я всё время исчезаю; я шаткий мост над пропастью, и ты не знаешь, перейдёшь ты ея али упадёшь вниз и разобьёшься весь, но так или иначе в конце пути тебя жду я, я, я.

Я отврачиваюсь, не могу на нея глядети, я шепчу ей: ты пришла прежде времени, ты моя убийца. Да не нужно мне тихой кончины! В глубокой старости не надобно постепенно угасания; я всё время вижу округ себя бушующий огонь; приди в накидке огня, приди ко мне во огненной понёве, встречу тя с радостью. Я не хочу долго жить на земле, но я не хочу случайно завершить путь и случайно начать ево снова. Я хотел бы приготовиться как должно, и штобы ты стояла у праздничново стола моего, у богато и густо украшенново камнями трона моего, и штобы я побыл хоть немного на земле Царём судьбы моя, а потом усадил тебя, смерть, на мой трон, встал пред тобой на колена и поцеловал костлявую руку твою и сказал: не боюсь тебя, служу тебе и век буду служить, я не умру от старости, я от огня умру. Обними мя, огонь мой покажи мне!

Смерть протянула ко мне руки, я увидел вместо скелета, костей ея два ярких красных языка огня; они колыхались на сквозняке, дверь в избу была открыта; ты знаешь о том, што ты вступишь на невозвратный путь, так спросила. Да, знаю, кивнул я, ништо не вернётся. Всё уничтожено, я прошёл все дороги. Я сказал людям о том, кто они есть в Мире и кем они станут потом, когда на Страшном Суде разверзнутся все могилы, и кости оденутся плотью, и люди выйдут из гробов повапленных, под землёю истлелых, на свет Божий, подлунный, и узнают друг друга, и

обнимут друг друга, и заплачут; время, будет ли тогда время, опосля Страшново Суда? Смерть посмотрела на мя пустыми глазницами. Нет времени, уже нет, оно безповоротно, как всё на свете. Мы не можем повернуть времячко вспять, мы не властны, протопоп, вернуться в прошлое. Часы отмеряют наше земное время, но какие? Небесные часы? отмерь нам время нашей души в посмертии, егда окажемся мы там, где оказатися суждено каждому, но никакой человек ишо не возвратился оттуда, штобы поведати, што же там такое; есть ли там Мирь, иль нет ево. Смерть тихо спросила мя: хочешь ты стать вновь молодым? А хочешь ли, когда умрёшь, возродиться? А может быть, ты, протопоп, хочешь перестать стареть? Я глубоко и тяжко воздохнул. Престати стариться? Не шути со мною, смерть. Разве такое чудо возможно? Я и так уже старик. Борода моя бела-метельна. Ежели я вновь стал бы молодым с виду, маята пройденных дорог давала бы о себе знать; прожитые годы валуном придавили бы мя к земле, а слёзы о пережитом всё лилися бы и лилися из очей моих. Эх, зачем мы живём тако печально, спросил я смерть. Она молчала. Она не могла ничево ответить мне. Всё необратимо, всё невозвратно, но почему? И, ежели нельзя вернуться, значит, нельзя и возродиться, нельзя воскреснути; и значит, Господь сочинил для нас дитячью сказку о Втором Ево Пришествии и всеобщем людском воскресении на Страшном Суде! Вот видишь, Аввакум, спокойно сказала мне смерть, ты, оказывается, всё-таки еретик! ты себе противоречишь; часы не остановят бег, время не слышит нас, время утекает, время уходит, и вместе с текущим мимо Мира временем уходим мы, потому што мы и время, это одно и то же; самое страшное, да надо смириться. Смиряется же человек с самим собою, отражённым в зеркале. Я смирился, о смерть! так горестно воскликнул я; я подчинился судьбе молодым парнем, я думал о старости с ужасом, а нынче я думаю о ней с радостным спокойствием! Я не мог понять, отчево на свете существуют кровопролитные войны, а теперь я сие понимаю и принимаю, знаю: убийцы, бунтовщики, преступники, разбойники, воины конные и пешие, опричники, головорезы, мстители, они запросто обращаются с чужими жизнями, они нападают на людей, убивают их без жалости ножами,

бердышами, топорами и копьями; они, ежели христиане, в тайные минуты уединения падают пред образами на колена и молятся Богу, и плачут: возьми, Господи, от нас чашу сию, чашу злобы и жестокости, и обрати нас в радость и милость, к добру и счастью, ибо умрём мы, ежели станем такую жизнь продолжать. Да уж лучше смерть, Господи, чем такая-то жизнь.

Любовь и Милосердие, смерть! Есть ли они в тебе? есть ли у тебя душа? Отвечает: нет, я никто. Имени нет, души нет, мыслей нет, ничего нет; веры нет, памяти нет. Разве помнишь ты, человек, первое мгновение своё на земле? так же ты и последнее своё мгновение не упомнишь. Как ты родишься, не расскажешь никому и никогда, да и сам не знаешь. И как ты умрёшь, ты не знаешь. Ты произносишь слова: всегда и никогда, а наипаче при прощании с любимым человеком, и сие прощание ты хочешь видеть вечным; ты хочешь, чтобы длилось оно безпредельно долгое время, али чтобы стало так в будущем не раз и не два, чтобы всё повторялось, всё приходило опять. Вот прихожу я, смерть, и вот моё торжество наступает, моё царство, я праздную. Время необратимо, но и мя не обернуть; не вернёшь времени, и не вернёшь меня. Важное и медленное течение времени, огромной ево реки, непоправимо и неизследимо; всё появляется и исчезает. А я, я появляюсь и не исчезаю! Умирают лишь однажды, но умирают безконечно, потому што умирают все: и звери, и птицы малые, летучие, и жучки крохотные, и змеюки коварные, ядовитые, и люди, кто себя осознаёт живым вечно умирающем Мíре. Едва родимся, красные, орущие, нас уже бросают в неистовый водоворот бытия. О смерть! так закричал я. Я тонул робёнком в омуте, водоворот и мя затягивал! речка наша малая, ямы да омуты в ней; шуки там водились толщиною во бревно. А Никитка, дружок мой зимний и летний, всё кричал: там, на дне, знаешь кто живёт?! дьявол, дьявол там живёт! Утянет он тебя, во тьму, на дно утянет! Может быть, ты там мя ждала, смертушка, но не дался я тогда тебе робёнком. Хотя тонули детки в селище нашем, тонули, и ревели, голосили матери, волосы рвали на себе, выдирали в отчаянии космы, обливались напрасными слезами. Наша смерть для нас всегда в будущем. Неужели ты здесь, рядом со мной, настоящая? тебя ищо

нет. И ты уже есть. Вот што странно. Што такое умереть, скажи мне, смерть! и отвечает мне она: умереть, то престать быти, тебя боле не будет посля меня, потом, а ты знаешь, не будет никаково опосля, не будет у тебя будущее, протопоп, когда наступит царствие моё, ничево там не будет: ни крестьян, ни Царей, ни протопопов, боле ничево нетути на все времена. Ну-ка, знаешь-ка што? слово БЫТИЕ, произнеси-ка ево ищо раз, повтори, посмакуй, яко утопенье Царское, яко стерлядку жирную, янтарную, в устах своих. А што такое НЕБЫТИЕ? Да то очень просто, проще пареной репы. Не быть, не жить. Уничтожу тя, и не скроешься, не спрячешься от мя, ни в подполе, ни в погребке, небытие начнётся для тебя севодня и будет продолжаться всегда; умирают только один раз, и сие происходит на веки вечные, на всё время, што холодно, व्यужно расстилается пред тобою. Понимаешь ли ты, протопоп, что означают эти звуки, НА-ВСЕ-ГДА? мы не можем их осознать, то яко детская погремушка, слово НАВСЕГДА гремит над нами, птицей во веки веком чирикает над нами. А ведь на самом деле, протопоп, она льётся, льётся, твоя красная смерть. Смерть, воскликнул я, значит, ты есть кровь, значит, льющаяся кровь самая жизнь, из жизни самое святое, самое живое изо всево живово, и значит, ты... врунья презренная!.. ты!.. ты рядишься в одежды жизни. Ты притворяешься, ты лжёшь нам всем, и слышим мы свой предсмертный хрип, и понимаем, за ним не будет никаково другово нашево хрипа, ты, человек, перестанешь и хрипяти, и дышать, чрез миг молчание стеснит бледные губы умирающево, и последний выдох растает, и последние слова песни твоей оборвутся на краю пропасти вечного молчания. Последняя воля! Моя последняя воля! Никакая она не священная. Я же умру на костре! Священен только огонь, и всё, што я выкрикну людям с моего костра. Всё это они забудут, уйдя домой с широкой площади, от созерцанья жестокой казни; всё, што я желал, я желал при жизни, прежде чем навсегда перестать што-либо желати. Я убеждал ближних моих в жалкой правоте моей, я помогал жене моей, но никогда не оставлю ей предсмертного напутствия: сделай, мол, после смерти моей то-то, а то-то, жёнка, не надобно делати. Делать нечево, надо просто жить и



просто дышать; умом я осознаю, што и Настасья умрёт, и детки наши умрут; моё с ними прощание, моя завтра смерть. Но ведь никакого Завтра нет, есть только сегодня, есть только ты! воины во сражении добровольно идут на смерть, Родину защищая, и жертвуют своею жизнью с радостию. А в глубине души они всё равно надеются на своё Спасение, жаждут выжить в мешанине смертей, в кровавой дикой людской каше.

Прощание, смерть... Дай мне с моими любимыми распрощаться, ведь в жизни всё и всегда встречается и прощается. Вот мы с тобой, смерть моя, встретились, встретились прежде твоего прихода ко мне, зачем-то мне Господь ты показал. А может быть, вечен наш страх, он всегда живёт в нас, невозвратный уход. Ты Смерть! то конец; час безповоротный; после таково конца нет никакой надежды воскреснуть. Зачем я по эту сторону, а ты уже по ту? Откуда ты глядишь на мя? не за моим столом ты сидишь; прощание, молчание, мы молча попросаемся с тобой, но я не люблю тебя. Я хочу прощаться с теми, ково я люблю. Это они наденут чёрные одежды, будут заказывать заупокойные богослужения; помни, будут петь панихиду по мне, будет звучать в ладанном сизом воздухе скорбная лития. Сколь на земле песен!.. всё о тебе, навечная разлука, о тебе, с жизнью прощание, да о тебе, матушка Смерть. Мать Смерть, вот ты кто у нас. Есть Матушка Богородица у живых, живущих людей; есть Мать Смерть у всех, кто навек во твоё Царство утёк безвозвратное. Есть ли што на земле, што я могу исправить, наново прожить? всё, што мы сотворили в нашей жизни, мы не изменим. Ни живя на земле, ни потом, после тово, как наступит твоё Царство, Царицы ледяной, снежной. При жизни у нас был выбор; после жизни ничево не выберешь, ни капельки. Даже ежели там, в небесах, живут и странствуют во облацах души, мы можем лишь возрыдати о том, што мы, глупцы, содеяли, а поправить уже ничево нельзя, грех нельзя исправить, вот самое-то страшное. Неси клеймо, нечестивый, деяний твоих на тебе! А кто там, в посмертии, буду я? Я блудный сын, и я возвернулся к моему отцу. Есть ли там, рядом с тобой, Мать Смерть, Господь Бог? Я, старик, хочу стать робёнком и обнять Ево колена, я не смогу изменить сотворённое, я не смогу исп-

равить непоправимое, но я смогу за грехи мои попросить прощения у Того, Кто всё простит. Ты же, смерть, ничево не простишь. Бог может всё, я ничево не могу. От всей нашей жизни ни кусочка времени не оставляеши нам, даже на сожаления, слёзы сетования о том, што мы из жизни к тебе в объятия перейдём безоглядно. Нельзя отменить смерть. Соединяется в тебе всё. Ты, Мать Смерть, держишь нас в твоей горсти, но ты не можешь напитать нас сосцами твоими, грудью твоею, ибо вместо живой плоти у тебя кости, а вместо живых целующих уст у тебя голый лунный череп, ты сама умерла, смерть, ты покойница, ты лежишь во земле, и мы станем все, приходя к тебе, похожими на тебя... как дети на Мать похожи... а Воскресение? Воскресение, смерть! ведь Христос воскрес! ведь Пасха, Пасхальная радость, счастье, хоть один Он, хоть единожды, да воскрес! Всё равно нам всем показал: вот он, Свет, вот она, радость Возрождения! И так, как Господь наш Иисус, все мы возвратимся в жизнь на Страшном Суде! Што молчишь? Не веришь тому?!

И так отвечает мне смерть: нет, не верю. Христос воскрес для вас. А для меня никаково Воскресения нет, есть только смерть, есть только я, я общая Мать, я превыше всех богов, всех диаволов, всех людей, всей живой поросли, всех мёртвых планет; во страну смерти входят, яко зерно в мельницу насыпают, я всех мельничным жёрновом перемалываю, все превращаются во звёздную муку и рассыпаются по небу. Неуловим ваш свет, живые, он становится светом мёртвых. Вы корчитесь в последних муках, вы ждёте от меня последнево удара, и вы надеетесь, а вдруг вы оживёте, вдруг некто из ближних ваших взмолится Богу, и наступит ваше блаженное Воскресение, ваша тайная, и боле ничья, Пасха, и повторите вы радость Христову, и возрадуется всё вокруг, и наступит новая весна, и священный Божий Мирь запоёт вокруг вас снова всеми птицами-синицами, и побегут по синему, лазоревому небу облака... так Христос воскресил Лазаря; Лазарь, восстань! крикнул Он ему, и вышел Лазарь из гроба, из ночи, из погребальной песни, её спели для тово, штобы утешить вечно уходящих во мрак. Возрождение, Воскресение, несбыточная мечта! Тот, кто воскрес, уже совершенно новый человек. Он не помнит себя преж-

нево, он вдыхает земной воздух и начинает новую жизнь после смертного порога; ежели возвернулся ты, зачал ты Мирь читать с новой страницы. Возрождение не продолжение прежней жизни; ты забываешь всё, што было с тобой. Я, Матерь Смерть, стираю твою память, выливается твоя прежняя кровь, и внутри тебя весело бежит новый красный огонь, новая жгучая кровь омывает потроха твои и душу, смывает все больные зарубки и родимые пятна, грязь и позолоту. Память и безпамятство, нет их в Царстве моём. Я знаю, ты хочешь жить; ежели ты хочешь, я оставляю тебе жизнь. Ты думаешь, я милостива, ты мыслил, я жестока, а я на самом деле ни добра, ни жестока; просто я твоя смерть.

Так беседовали мы, я и смерть моя, и всё сильнее дрожал я, како на ветру, на холоду, будто ледяной ливень посекал мя, мои щёки и плечи, и негде было укрыться бедному протопопу. Я не мог её боле слушать. Она не могла боле глаголати; замолчала. И тихо на мя смотрела пустыми глазницами, незряче, слепо, тёмно, смотрела двумя безслёзными прогалами вечной беззвёздной тьмы. Я пытался заглянуть под костяной лоб ея. Страшные глаза ея, глаза тьмы, видели всё. Наблюдали всю нашу, суждённую нам жизнь. Однажды приблизится сей полношный череп к тебе, приблизятся озёра тьмы, вберут твои зрачки два чёрных омута, и ты должен туда шагнуть, хоть и боязно тебе, и неохота тебе, и больно тебе, а час твой пришёл. Дрожал я, сидел молча. Потом встал из-за стола, поднялась и Матерь Смерть; так стояли мы друг против друга. Не дрожала вострая коса в ея костлявых руках, сползла с ея лдяново затылка белая грязная холстина, извазюканная во сырой кладбищенской земле; из-под подола высунулась скелетная стопа, и вдруг... ну разве ж то не чудо, великое чудо... вмиг оделась моя костлявая смерть нежной кожей, стала красавицей, стала голубкой-девицей, широко распахнулись небесные глаза, глаза лазурные, ясные насквозь, просвеченные Солнцем. И так глядела эта девица на мя любовно, радостно, како в Пасху люди друг на друга в любви глядят, и протянула ко мне рученьки белые и тихо прошептала: Аввакуме, батюшко, обними мя, поцелуй мя, попрощайся ты со мною до времени, я приду ишо к тебе, не скучай по мне, ведь я одна люблю тебя, я одна помню о тебе, о тебе

воспомню, явлюсь пред очи твои ясные, и тогда возьму тебя за руку и уведу в своё Царство-государство, а теперь живи на свете! Да помни обо мне, всегда помни обо мне, не забывай мя, не верь тому, што люди обо мне говорят: я ужас, мрак, боль, горе, тьма; я не тьма, не реки так никогда, я счастье твоё. Я, Матерь Смерть, на самом-то деле безсмертие твоё. Не убоился я ея, протянул руки, обхватил ея за плечи, приблизил к себе, хотел крепко в объятиях стиснуть, да сжал только воздух, лишь тоску-пустоту обнял и прижал к сердцу, вдохнул глубоко, и чую запах полыни, горечь великую чую, и будтою кровью, людие, кровью пахнет... шагнул я назад, огляделся, изба пустая, ни Матери Смерти, ни звезды за окном, снег тихо мерцает, слышу стоны, хрипы, бормотанья ночные, ближние мои сновидят в ночи, спит Настасьюшка, спят детки, мои наследники, продолжение моё, вот умру я, они будут жить, в них моя кровь течёт, разве сие не победа над тобою, Матерь Смерть? што Ты кичишься собою и Царством твоим безконечным? Род, вот наше Царство! Род людской, вот счастье людей, вот их воцарение, вот их безсмертная, во времени летящая судьба! А што такое род? то наша кровь есть! Склонился я над колыбелькой, где спал мой сын родимый, глядел на ево лицо, личико светлое, разметал он ручонки, во сне посапывал, чуть дрожали реснички ево, чуть шевелились волосёнки ево от дыхания ево... сам я лошадиными ножницами постригал намедни ево. Настасья, жёнушка! детки наши вымыты были, накормлены, даже в голодухе, сами с голоду умирая, последний мы кусок изо рта у себя вынимали, а деток кормили. Такова судьбина человека, заради спасения подобно себе хоть кусок последний, хоть рубаху исподнюю, издырявленную, хоть жизнь твою, до дыр истрёпанную, отдать! хоть до смерти всё, што имеешь, отдавать и отдавать! особливо ежели то дитя твоё, ежели тот, бедолага, блаженный и немощный, и не может сам себя прокормити. Много юродивых по лику земли слоняется. Много детишек во бедности и сирости возрастает, и, выросши, уж мужиками да бабами к чужим людям прибивается, просит у чужаков милостыню, клянчит-молит безпомощно. Што дитё, што юродивый, люди Божии; не могут они сами на свете жить, не могут прокормиться, им нужно, штобы вечно кто-то им руку

протягивал и хлеб в той руке держал и в горсть им влагал, шtbody чтобы ели они, несчастненькие, и насыщались. И будут есть они, но благодарить тебя не будут. Матушка Смерть, она побывала у мя в гостях, што она мне сказала, я тут же и забыл, лишь ток крови во себе слышу. Бьёт кровь моя мне в уши молотом тяжким, и вновь не знаю я часа моего, тако же, как никто из живых, живущих на земле людей часа своего не знает.

\* \* \*

#### (плач о потерянном Мире)

*Девочка, ты веди мя, веди. Я твой отец, с ладанкой на груди. Я твой сын, ну и што, борода седа. Хоть куда мя заведи, хоть в никуда. Девочка, ты святая, зрю, воистину ты свята. Чую, как сладко и чисто дышат твои уста. Девочка, слава тебе, тебе исполать; да ты, смеясь, запретила себя по имени называть. Сколько по дороге мы видали убитых детей! Ты шептала: о них помолися, их пожалей. Сколь на пути нашем мы видали огня! Горела жизнь. Ночь пылала светлее дня. В огне горел старый Мирь. Горел мой родимый дом. Я плакал кровью. Я говорил с трудом. Девочка, прошептал, а ежели мы умрём? Она улыбнулась: предстанем пред звёздным алтарём! И тут зарыдал я, обратясь во плачущу свечу: дитя, не хочу ни к каким я звёздам! я жить, жить хочу! А по обе стороны дороги волком старая выла беда, и плакали дети и боги о Мире, што ушёл навсегда.*

\* \* \*

#### (Раскол — трещина расползается)

**Б**ездна! Гибель!

Нет жизни больше и не будет.

Да в это же невозможно поверить!

Кровь-то по жилам течёт! И не только у мя... у всех, всех, кто движется и дышит, дышит и летит, и ползёт, и скачет, и бежит, убегает от смерти... от смерти...

Да разве ж от нея убежишь! Нет таковой беготни, шtbody Смертушку-Мать опередила!

Ишо тепло мне, тёпленько во членах. Ишо тяжко, глубоко я воздыхаю. Мыслишки ишо

шевелиятся под чугунной, крепкой костию черепушки моя.

Но како, како уловить мне было тот миг, когда земелька под ногами треснула-затрещала, заблажили изнутри ея голоса-голосища — всех разом вспомянул: и Феодосью, Ангела победоново, предводительшу Войска на небе красново, Церкви воинствующей; и Настасьюшку, Ангела кротцево, нежново да покорново, иной раз от покорности той ея возбешуся, да руку, ой, руку-то на нея старался, Господи Сил, не подымать... разве ж можно на Ангела — руку!.. не будет чрез то мне прощенья, ежели так бы содеял, думал я, пряча кулак тяжелый, чугунный за спину, а ведь человек слаб, слаб человек, подвержен лютому гневу... вот он и есть Раскол-то, гнев, гнев людской... сердитки человечьи... кто на ково обсердится... кто кому под ноги плюнет... кто кому во спину — бульжник швырнёт...

Сегодня мя пока ишо живые, мя все ишо живы, а трещина растёт, а треск всё громче раздаётся, гром и грохот, и наступает миг, когда, людие, мя перестаем всё слышать.

Мы ишо видим.

Мы ишо видим, как растёт, шtbody рится, великанскою становится та страхолюдная трещина, как глядится рваной раной тот Разлом в земле... нет, в небе. Да, то небо треснуло пополам! то небо раскалывается, разрывается, и сей миг из нево, из неба живово, польётся на землю кровь, и мы все искупаемся в крови, и мы омоемся кровью. Зачем нам жизнь? Зачем Господь дал нам жизнь? Только лишь затем, шtbody чтобы мы продолжили ея, родив на земле детей не на счастье, на муку мученическую? Всё шtbody рше Разлом, рваные лохматые, кровавые края раны уж не слепит ловкая бабья рука закраиной пирога, не сошьёт никто, ни Бог, ни человек, ни холодная хрустальная звезда, вон она, напрасно тянет к земле метельные, прозрачные, снежные руки-лучи. А я стою на костре, внутри костра, я стою внутри огня, и Раскол, Разлом, рана земли, небесная рана, под моими ногами и над моею головой, тако истончается моя жизнь, моя и только моя, а вы все, людие, не бойтесь, вы все будете жить, вы будете дышати опосля погибшево мя, но почему же мя не будет рядом с вами?.. а потому, што я остался по эту сторону Разлома; потому, што Раскол прошёл чрез мя и сквозь мя грешново, разрезав мя над-

вое, разломив, как кусок хлеба, краюху ржаную. Да, я ржаной! Да, я ситный! Да, я калач, я взошёл на опаре, я человечье тесто, но слепили мя однажды пирогом могучим; это Бог вылепил мя, выкинул на пищу людям и зверям, растёт и ширится Раскол, растёт и вырастает до небес огонь, рана небесная смыкается с земною расщелиной, Раскол, зачем мы разорваны, почему мы не едины?! И для того, чтобы воссоединиться, надобно просто обняться. Обнимемся, люди милые, люди любимые! Давайте обнимемся! Тяну руки к вам из огня, из костра, тяну на тот берег, там, за пустотой, иной берег обетованный, иное человечество глядит на мя, в огне горящево, сгорающево... вот скоро стану крошевом, пеплом! А вы, вы люди мои нынешние, грядущие! достанет у вас сил из огня выхватить мя? Попробуйте! попытайтесь! а пошто, пошто вы спасёте мя? опять на страдания? опять на муку смертную? А я бы хотел, чтобы на радость, на счастье. Как человек хочет счастья! како ждёт он ево, призывает, целует, голубит, гладит мыслию, гладит дрожащей предсмертной рукой... Раскол, Раскол-то ширится, Раскол заполняет собою всё целое, и целово, людие, больше нету, есть только разломы, отломы, надломы, осколки... зеркало бьётся в осколки, в том зеркале отражается наш Страшный Суд, наш Божий Суд, а человеческий суд приговорил мя к сожжению, и вот глаголаю я из пламени, и вот говорю и сгораю. Это война! Это война! Кто ково накажет в ней последним огнём?! Кто первым огонь разжёт?! все причастные молчат, только дрова подбрасывают в жадное пламя. Огонь! пожри нечестивых! накажи неправедных! спали ненавидящих! Они первыми хотели напасть, да мы их опередили! Кто ково, людие, опередил в войне?! Разве всеобщая гибель, то дитячьи счётные палочки: первый, второй, третий... последний, а дале горячая слепота?! И задыханье, и Адская боль, и густой чёрный дым?! Спаси, спаси, Господи, наш Русский Мирь! Не дай Бог вам, людие, погибнуть в огне, во всемирном огне, а ведь вот он, в небесном Разломе, в земной пропасти, языки подземново огня вырываются наружу, подбираются к нежной земляной коже, запечённой Солнцем корке... земля, ведь она тоже пирог... И лучи небесново огня отвесно падают на широкий хлебный Разлом, на разрезанный ситный земляных грозных

небес. Огненный дождь льётся на землю, да это Судный День, последний день, и люди летят, люди парят в небесах чёрнопламенных, горят огнём их голые тела, хватаются они за руки, бешено крутятся в пустом пространстве, в саже Вселенской, им нельзя дышати среди звёзд, што сыплотся хрустальными злыми, ледянными ягодами из Божьево туса, из громадново небесново сундука, они сыплотся вниз, на землю, и те, кто остался в живых, кто жив ишо, хватает ту манну небесную, ледяную последними глазами, устами, руками, ведь это свет, ево надо крепко в кулаках зажать, к сердцу прижать, упрятать за пазуху, яко щенка, котёнка, новорождённого младенчика, свет завсегда младенец. Свет — брат огня! Огонь, огонь, чьё ты дитя? Я в тебе проповедую, тебя взахлёб пою и во тебе сгораю! Огонь, ты старый горящий крыж, красна твоя борода, красны пальцы твои, они воздымаются к небесам, золотой становится зенит, златом над затылком твоим пылает и плавится у тебя, казнимый, под ногами, ты умираешь, а огонь живёт, ты вопишь, а огонь бешанствует, ты выталкиваешь изо рта последний кровавый живой крик — а огонь закрывает тебе рот мощной, золотой, красной, дикой, последней ладонью.

\* \* \*

**(пепел Аввакума собираю в ладанку и вешаю на грудь. Мой крестный сон)**

**С**обираю пепел. Здесь сгорел человек.

Собираю то, что осталось от человека.

Господи! Ты сотворил еси человека на земле для того лишь, чтобы он убил, изничтожил другого человека — брата своего, друга своего! Сродника своего... единокровника...

Война. Она опять идёт. И отдышаться не успели.

Война! Братья убивают друг друга. Взрывают. Сжигают.

Все мы друг другу родня. Во всех едина кровь замешана; и струится по жилам, и хлещет, коли нас разрежут-разрубят, мечом расколют, раскромсают. Дьявол злохитрый, дьявол любодейный, дьявол поганый: ево вера — ненависть, ево клятва — меч да секира.

Ты сгорел здесь, мой отче, брате мой Аввакум.



Жизнь моя, старец мой, вечный юноша мой; сыне мой; праотец мой; брада твоя по ветру виляса, яко огонь палящий, небеса собою поджигала. Небеса, небеса. Хожу по пепелищу; северная холодная ночь спустилася; выпь страшно кричит; останки твои, мой родной человеке, в ладанку собираю.

Пепел ищо горячий. Обжигает мне пальцы.

Да што я! Сердце обжигает.

Мы-то на земли живём-живём, хлеб едим да воду пьём; шти то с мясом, то без мяса; то на праздник пляс, то во горе нету пляса; кто мы на земли таковы?.. тише воды... ниже травы...

Здесь человек сгорел. Человек! Ведь не Бог же!

...а ведь и Бога Господа нашево взяли и распяли. Гвоздями толстыми, длинными, корявыми ко Кресту приколотили. Разве то по-человечески? Разве то не диаволово деяние? Што тогда с людьми сделалося, што они, многогрешные, такую Богу казнь удумали? К чему тако сильно, безумно, неудержно дали вырваться из груди вон немислимой злобе своей? Вот все бают: зверино, зверино. Да зверь лучче человека иной раз! Чище! Милостивее! Хищный — да, человека загрызёт; жрать ему всяко-разно нужно, да и мстит он охотнику, ежели охотника встретит во густой чащобе без ружья. Человек наисамый страшный зверь. Сие давно подмечено, да не мною; Временем самим. Людие, людие! Зачем вы, нечестивые, в пепел сожгли отца моево, наставника моево, великово Учителя моево? И не смогу, яко Магдалыня в ту достопамятную ноченьку, я кинуться на колена пред Учителем, протянуть к нему ручонки мои сырые, жалкие и воскликнуть во всю хриплую от счастья глотку: Равви! Ты ли!

И отец мой, сродник мой, великий Учитель мой не шагнёт с кострища навстречь мне, не улыбнётся светло, горько и чисто, не вытянет руку предо мною ладонью вперёд, себя — от меня — защищая, меня — от себя — охраняя: милая, родненькая, да ты ж не прикасайся ко мне, ибо не улетел я ищо на небеса желанные, не вознёсся горе, не восшёл по золотой горящей лестнице к родимому Богу, предвечному Отцу моему...

Пепел. Он жжёт мне ладони.

Пепел протопопа. Он жжёт мне сердце.

Я сей час в ладанку пепел-то собираю да за гайтанчик на груди повешу; вот так, так; хорошо,

мешочек холщовый, малютка, ты у меня на тёплой груди угнездился; пепел тёплый, живой, ищо костер не остыл, ищо угли тихо шевелятся, нежным синим светом горят, красным Адовым огнем мигают. Живые, будто зверьи глаза в буреломе. Всё живое. Всё. Камни живые. Бают, камни движутся, тихо ползут, и через тыщу лет с места на место могут переползти. Звёзды живые; они то вспыхивают, то гаснут; время их жизни не измеряется земным временем, не колышется земной кружевной занавесью. Мы не можем исчислить их путь, зреть их судьбу. Однако вот вспыхнут они в полночи, и зачнут падать, и густо таково валяются, бешано, люто — и ты понимаешь: тебе, тебе, жалкий, крохотный человек, жить осталось минуточку, а звёзды — вот они, вечность целуют-милуют, украшают хрустальными бусами спящую землю нагую. Звёзды, небеса украшенья! Дальнего гиблого огня вдальке движенье. Дальних казней пыланье. Костры и сожженье. Желанье и расстоянье. Между мной и тобой — кто задрожит солёной губой?.. Кто прошепчет молитву седую, святую?.. Кто шепнёт еле слышно: не плачь, дай я тебя... поцелую...

Пепел. Вот и ладанка уж почти полна. А будто мешок без дна. Слово бы в чёрный мешок небеса, пепел твой, отче Аввакуме, сыплю, кладу, кладу — воззрю на звезду — от усталости-боли едва наземь не упаду — во снеговую, во грузную ступлю борозду — а смерть, смерть моя, сколько ж ты раз приходишь в году...

На веку... вон висишь на суку... улыбается твой голый безумный рот... зажмурюсь, и тако, слепая, перехожу твою реку вброд...

И всовываю я башку мою бедовую, лихую в петлю гайтана, а на нём ладанка с пеплом Аввакумушки моево качается-раскачивается, будто колокол, да только беззвучный, безгласный, безмолвный... гордый колокол-то, молчит... али вырвали у нево язык, язычище... и вместо звона-крика — внутри, в медной чаше ево, лишь ветер гуляет-свищет... лишь Небесный Волк, горя красными зраками-звёздами, неуголимо рыщет... а я тут, на земле, во снегов хрустале... то ли трезвенька, то ль навеселе... ступаю босыми ногами во мгле... ступаю по снегу, по разъятому веку, по рытвинам-ухабам, по мужикам-бабам, по царям-господам, никою не предаю, а всем лишь горбушку хлебца подаю... от сердечка, хоть са-

ма-то не вечна... хоть сама-то — тощая свечка... во небесном храме, продутом всеми ветрами... во небесной чёрной яме, заваленной звездами-снегами... Аввакумушка... я же тут стою одна... ни простору, ни косогору, ни ветру жена... ни Царёва держава... ни смердова кошма... ни прозреть велелепно, ни сойти с ума... ни водой струиться, ни святым Уставом в ночи светиться, ни кровию течь... а слезами лишь литься да литься, лишь лить вдовию речь — над кострищем-пепелищем... над рудою огня... а вокруг время ветром свищет... норовит в грудь, в лик солёный ударить меня... Ах, ударь мя, ударь, господин мой ветер... наземь бродяжку повали... я и за тебя, брат мой ветер, в ответе... и за все полоумные ветры земли... и за каждое оглашеново младенца... за мышонка каждого, паучка... ветер, мы же с тобой единовержцы... вон она, зри, вера моя — пламя златое на дне зрочка...

\* \* \*

(Аввакум и Никон. Десница и шуйца)

**Н**икитка, Никитка... Сирота ты был, сирота, и как сей час помню тебя, всево зарёванново, и мачеху твою, што на снег тебя, озляся, выгоняла, на широкий двор пустой, и ты стоял-ёжился во дворе, а снег под звёздами неистово сверкал, и я мимо иду, да тебя завизжу таково задрогшево, да за ручонку схвачу, да в избу нашу поведу. Матинька моя тебя горячим отваром шиповника отпоит, целебным, штобы ты не простыл, не закашлял. Отец мой Пётр тебе из сеней мой тулупчик принесёт, укутает: согрейся. Ты грелся, сидел, дрожал, как подстреленный заяц, в тулупчике, зубами стучал. Подранок ты и есть подранок! В детстве ранили тебя! Кому в детстве боль причинили, тот всю жизньюшку с ней и живёт. И в монастырь ты сам захотел уйти; и отроком, двенадцать тебе, кажись, стукнуло, к монахам подался. А в путь не мачеха тебя снаряжала: мать моя; мысленно, Никитка, ей поклонися.

А отец твой, негодник, выдернул тебя из монастыря, выпростал силком из рук Божиих: возжелал тя женить. Ну како же, род-то продолжит кто!

Женили... и што... дети являлись один за другим, рождались и умирали. Оплакал ты всех тро-

их. Како дале жити? Упросил ты безутешную жену в монахини постричься. Да и постригся сам. Ея определил в монастырь московский, во град престольный... а сам отправился на севера. Север подзвёздный, Север! Морские солёные ветра! Море Белое, льды громоздятся, забвения шёпот слышен... Монахом ты стал на Соловках. Соловецкий монастырь твои шаги, Никитушка, запомнил: то эхо гудит под сводами храмов.

И выходил ты на берег моря; и мысленно, а потом и въявь Литургию служил. И вокруг тебя собирались все убиенные, все изникшие, замученные и возславленные тут.

И што? И то... Пошто от Елеазара Анзерсково утёк? Пошто не послушался ево? Строптив ты. И то твоё несчастье было. Пробило твоё несчастье во звонкое било, в кое били монахи, созывая насельников на службу. Исчез ты с Елеазаровых глаз, а старца, што тя, дурня, приблизил к себе, надлежало лелеяти, деяния ево в молитвах поминать, мудрости ево изреченные навек запоминать, за ним хвостом ходить: куда старец, туда и чернец. А ты...

Я всё помню, што ты мне рассказал. До смерти не забуду. Ты ко мне во сне приходил и всю твою жизнь, задыхаючись, выболтал. Видать, жгла она тебя, прожигала насквозь, жизнь твоя! Не снёс ты, когда старец тя носом тыкать стал в твоих рук дело, в постройку скита. Обсердился ты и покинул обитель. Страсти, страсти тебя побороли! Псалом Царя Давыда чти безконечно, по сто раз на дню: от юности моя мнози борют мя страсти...

Бога тож можно страстно искати! Воля чужая властвует над тобой, а ты ей подчиняешься и борешь себя, самолюбие твоё, самодовольствие твоё... Не научился ты послушанию! Гордыня пришла и сломала тебя. А потом наново сшила, по клочкам, по кусочкам. Ишь ты, лоскутный Никитка! То бишь, конечно, мних Никон уже.

Отвратился от послушания — и гордыня заела тебя; так волк загрызает смирную, бедную овцу, и она токмо ножонками дрыгает. Чево ты хотел там, тогда? Какой власти? Ужели — этой, вот этой, нынешней?

А по лестнице власти взойти трудно, да возможно. Во ином монастыре ты дослужился до игумена. Братия стала главы пред тобою преклонять. Иереем Навагородским ты пребыл... сколь

годов?.. Да разве ж то так важно... Ты рвался, рвался вперёд и выше, Никитка, вперёд и выше... таково желание всех гордецов. Ты вот мя обзываешь гордецом, а я, заметь, я-то никуда не рвусь! И власть мне не нужна. И почести. И преклонение. И владычество над всем народом мне не нужно; довольно мне и того, што со мною рядом, душою али телом, мои единовверцы. Ежели далёко они — я им письма пишу... Вот... болярыне... да жива ли она... а хоть бы и мертва — я всё равно ей письма царапаю...

Тебя к Царю привели, к Царственному отроку: сунули тебе кулаком в спину: вались пред Царём на колена! — а Царю-то шестнадцать. А ты всяко старше. И отеческим оком на Царя зриаешь. Вот ково Царь искал, по всей земле рыскал! Отца! Он-то тож ведь был сирота. А ты, Никита, ты таковой могучий... резкий... все хитрости вмиг разрешаешь... обо всём велико мыслишь... работать мог, молод ведь был, без устали, денно и ночью... и ласкал, обласкивал то и дело юново Царя, знаю, видел то во снах моих, то по головочке русой ево погладишь, то к ручке приложишься, то к краю Царского кафтана...

Так и стал ты, Никитка, Патриархом. И титул тебе, Патриарху, в благодарность за ласку твою Царь присвоил торжественный — Великий Государь. О, сбылась мечта твоя! Мечта о власти безпредельной! Стал ты государем Церковным; што может быти выше? Царский трон с Патриаршим посохом ведь равняется, спору нет. Симфония византийская!

И всех заставил ты слушаться себя. Ох, представляю, каковое наслаждение тебе то доставляло! Бояре на тя Царю жалились, да. Кто опоздает — сей же час во двор, на мороз. Како же и тебя... мачеха твоя... баба злобная... Ежели едешь куда — пост держи, не дай Бог оскоромиться. Коли ты в палаты вступал — все, да, все должны были вставать. И тако стояти пред тобой, молча слюну глотая. Бояре, небось, твои переглядывались: шутка ли, сын мужицкий ими крутит-вертит!

Это ты, Никитка, так с боярской гордыней боролся. Гордыню с них, яко шапку, сбивал! И то! Может, оно всяко-разно и хорошо было! Ведь бояре, они што: неровён час, и зажрались! И зазнались, и носы выше кремлёвской башни дерут!

Но ведь, Никита, справился же ты с еписко-

пом Павлом Коломенским. Из-за чево? Из-за поклонов во службах Великово Поста. Павел тя упросить хотел: сократи да сократи поклоны! Тяжко! А ты ево...

Опала, мнишь, борет гордыню? Борет самово человека, каков он есть? Да никогда не поборет. Сам ты своею силой гордишься, кичишься, пузо надуваешь под рясой, да и я горжусь: я тоже силен, я равен тебе, Никон! Роскошь ты любишь — то преступно! Не церковное то, а мирское! Мнил ты, знаю: Великий Государь должен во шелках-бархатах, в дорогой утвари да драгоценных винах купаться, и, хотя ты сам аскетом мог плоть усмирять, да пред иноземцами с масляным карманом восхотел ярче смарагда покрасоваться, ослепительней сапфира возсияти. Признался ты мне, помню, што носишь облачения пудовые, како юродивый носит на себе, на ребрастом, нагом теле чугунные вериги. А ты весь в изарбате хвалынском, да яхонтами усыпан!

А што, ведь и тебя били, равно же како и меня. И тебя однажды в Новагороде всмерть излупили! Бунташное наше времячко, ой, бунташное. Не совладать иной раз с людьми. Яко псы цепные, в загривок тебе вцепятся и так волокут по земле. Едва ты не умер. Да здоровье твоё многих изумляло и ишо изумит! Богатырь ты, Никитка, окреп ты во странствиях, в гладе и хладе, во северных монастырях, во постах изнуряющих; да в битвах духовных немало сил набрался, чрез то и стал, может статья, Великим Государем-то. А бунтовщиков тех ты самолично упросил Царя помиловать! Немыслимо! Народ дивился, а ты пред народом встал на колена и земные поклоны бил. Лбом во землю бил! Так каялся. В чём?

Во грядущих деяниях твоих?

Ну вот поменял ты Устав. Мелочи в нём поменял — а больно! Больно народу! Не желает тово народ! Хоть ты ему, народу, и голову морочил харатейными списками, святостью древности великой! И попомни слово моё: низложат тебя, низвергнут с твоево Государева трона! Царь возненавидит тебя. Власть найдёт на власть. Найдёт коса на камень! Да, камень ты, Никон, да Царь-то — острая коса! Я возстал противу искажений Святого Писания, а Царь возстал противу гордыни твоея! Да сам-то, сам-то Царь — ох какой гордый! Горделивей нас с тобою обоих, вместе взятых. Ни мне Царя не поборошь, ни те-

бе! Хотя ты и всемерно приблизился к нему, а я издалёка на него взирал! И желания не испытывал к нему на брюхе приползти, к его плечу, облачённому в парчу, моим плечом прислониться!

Будут клеветать на тебя! Сплетни великие будут распускать! Подножки тебе подставлять, да штобы ты на ровном месте споткнулся да пред Царём постыдно растянулся! А тут и поглумиться над тобою можно! Запомни, Никон: бояре — те же скоморохи, ежели надобно, они таковой глум устроят, што ног не унесёшь! А сана тебя лишат. Лишат! Провижу то. Ты, Никон, мя сожжёшь. А тебя — Царь в дальний монастырь навеки упечёт!

И будешь сидеть во смрадной, свечьми прокопчённой келье, на оконцах решётки, куса неба не видно, послушник сутулый водицы во кувшине глиняном притащит. В угол кельи поставит. Слово изронит — ты не услышишь. Будешь сидеть у окна, как и я нынче сижу, погружённый в тяжкие длинные думы. И милости, милости доподлинной просить тебе будет не у ково. Округ пустота... тишина...

...где-то далёко, в небесах, а может, на ветке, за келейным оконцем слепым, за решёткой, будет петь малая птаха...

...как тамо, во селце Вельдеманове, во селе Григорове... среди детства нашево синеоково...

Мы не вечны на земле, Никон. Не вечны. Где любовь? Множество человек по земельке бежит, и множество забыли о любви. Али не ведают, што она такое. Господь зря, напрасно о любви им говорил. Напрасно на Крест всходил. Ничем безлюбых не проймёшь. Вонючая тесная келья, вот будет твой дом. А может, земляная яма, навреде той, в кою болярыню мою засадили. И мя засадишь; я вижу, вижу.

Много чево я вижу, Никон, да всё не скажу. Мы не знаем часа своево. Да только я знаю; я вижу мой огонь, в коем сгорю. Келью вижу, в коей тосковать станешь; смерть твою вижу, при стенах монастыря чужого, при свете в ночи белой, яко лебедица, колокольни. Ночью помрёшь! А я днём. Ты осенью, а я по весне. Ты десница Царская, я шуйца. Не сцепим пальцы! Не сплетём ладони! Две руки, и розно, и тоскливо. И буйно, и безумно, и молитвенно, и плачуще. То одна ладонь слёзы с лика оботрёт, то другая. Не знаешь, како тя отпоют? Да мыслишь: а вдруг я новый

святой! и тело моё не истлеет! и прах мой, вместо смердения, зачнёт благоухать, обратится во святые мощи! Умерь гордыню, Никон. Кто из нас святой, разсудит время. Да никто, видать, никто. Не возноси себя выше людей. Ты, Никитка, обычный человек; как все, как все. Так же плачешь, и слёзы блестят в бороде, так же пищу вкушаешь, щи кислые, остывшие липовой ложкой хлебаешь, так же крестишься, так же исповедуешься. Так же в полуночи, содрогаясь всем страждущим телом, заливаясь слезами, из глубины души молитву читаешь. Помилуй мя, Боже... по велицей милости Твоей...

\* \* \*

#### (Аввакум и болярыня. Встреча посмертная)

Сам не понял, как забылся, как заснул. Зрю, слётся на пол чернило из чернильницы, льётся по рукам моим, по ногам... инда тёмная кровь. Тут я и вздрогнул, и проснулся, обвожу глазами избу, вроде в моей избе, а навреде и не в моей; сруб изнутри золотом мерцает, странными золотыми снежинками, будто сруб тот пирог, и ево хозяйюшка ягодой мёрзлой обсыпала, как на Святки-колядки. Небушко, небо, беззвучно собакою лаешь, звёзды голодные роняешь, а нечем мне тя, небко, угостить, и пирога нету, и даже горбушки ржаново нет, Настасья спит у печки, вповалку на полу детки спят, а я царапал пёрышком, царапал, об чём чертал, пошто черкал... мне бы тоже почивати, а я всё сижу, а мощный дубовый стол, ровно лодья, поплыл, подобново со мною не бывало, шепчу в ужасе: остановися!.. за воздух крючьями-пальцами хватаюсь, сам плыву, а всё вокруг мя застыло, а золотые звёздоньки всюду вспыхивают и гаснут и опять возгораются, и вот из тово золотово сияния, свечения и вспышек, звёздных узоров занебесных явилась моя болярыня, моя Феодосия Прокопьевна. Давненько я ея не видал, не слышал. Я сижу, ноги ослабели, встать не могу, стал, шатаюсь, инда пьяный, низко-низко поклонился. Глава моя закружилася, а болярыня стоит предо мною во плате нарядном с кистями, не в чёрной рясе монашьей, не в чёрном клобуке монастырском, а во понёве богатой, перлами озёрными развышитой, да в радостном, как радуга, платье, златошвейки,



видать, денно и ночью расшивали, немало потрудились. Уста мои онемели, и холодными, твёрдыми, недвижимыми губёшками я пролепетал: здравствуй на множество лет, болярыня Феодосия! али инокиня Феодора, како ты сей час тамо, на небесех, кличут! Каково на тебе платьё сие роскошное! пошто ты ево надела-нацепила, разве праздник Великий какой нынче двенадцатый? Стала чаще дышати и выше подыматься грудь ея, и сильнее кружилась моя башка, искал я очами моими оченьки ея, штобы распознати в очах ея, што на сердце, на душе у нея делается; разомкнула она алые уста, тихо шепнула: я, батюшко Аввакуме, нынче невеста, нынче свадьба моя. Я так и присел. Да ведь ты же умерла, девушка! шёпотом вскрикнул я, глотка моя захрипела, не в силах я вымолвить был боле ничево, стоял столбом и, как рыба, воздух немым ртом ловил, а потом всё-таки выхрипнул: ты же на том свете, матушка, жестоко Царём казнённая возлюбленная моя! Да како же я тя уважу, как признаю, да в такой роскоши неимоверной, таких нарядах ханских-татарских, а может, Царских, а может быть, ты у нас нынче Русской Земли Царица, да-да, я всё понял, Царица ты Руси днесь, Алексей Михайлыч, Царь наш, тебя, небесную, нынче в жёны берёт, из облаков, инда птиченьку, голыми руками взял да за пазуху засунул тебя, милая, а я-то, видать, тебя потерял. Улыбнулась тут она широко, шире, ишо шире, улыбкой, како Солнцем, всё вокруг озарила, да и так возговорит: батюшко Аввакуме, то свадьба наша с тобой, нас с тобою нынче повенчают! Нешто это можно при живой-то супруге моей, забормотал я, вон, вон, оглянися, Федосьюшка, вон у печи Настасья моя спит и детки мои почивают; об чём же речь ты ведёшь непотребную? Повернула голову она, и жадно гладил я глазами ея шею лебязию, и будто бы вокруг нея распахнулись белые широкие крыла, синей, лазоревой, перламутровой метелью замерцали, звёздное сияние от крыльев, от перьев тех исходило, как ночью от великих снегов в белом зимнем поле ночной свет брызжет, таинственный, святочный, серебряный. Крыла невестины, белый шёлк, беззвучно колыхались, я чуял дуновение ветра ото всех лебединых перьев. А наша свадьба, Аввакуме, небесная, никому она не помеха, вместе навек, она лишь для нас обоих, потому не бойся, не пугайся, про-

тяни мне обе руки! Я не возьму тебя с собою в Мирь Иной; там, где я живу ныне, места нет покамest для тебя; в назначенный час ты уйдёшь в Иномірие. Тот свет безбрежный, мы летаем везде, мы видим всё, нам внятно всё, мы чуем всё, мы мыслим обо всём, мы жили прежде, мы живём ныне, и мы живём чрез горы времени, и всё сие одновременно, Аввакуме, потому не бойся, протяни руки и гляди смиренно!

Болярыня моя протянула мне обе руки, я схватил её руки жадно, мне было всё равно, я хотел в Иномірие, я хотел в Мирь Иной, жаждал переступить порог жизни, измучился я здесь и Настасью измучил, зачем с нею детей родил на страдание, на умножение боли, исполнил Божий закон, продолжение рода. Зачем вся жизнь? затем ли, што в ней есть таковой брак Небесный, сочетание двух духов, предвечная Брачная Вечеря в чертогах у Господа?

Так стояли мы, рука в руке, и таково сильно колотилось сердчишко мое, што ничево я не мыслил уже, не чуял, а только повторял себе одно: Господи, ежели Ты сей миг, вот сей же час прикажешь мне умереть — я и умру; ежели Ты захочеши, чтобы мы с Федосьюшкой жили вечно — и будем жить вечно; только, Господи, так молился я, остави жити на земле родимой жёнку мою Настасью Марковну и детушек моих единокровных, призри на них, милостью Твоею их не покинь.

Будьто ветер взвился вокруг. Сие всё были люди, люди, люди. Они вихрились. Превращались во метелицу, во вьялицу. Целовали нам с болярыней руки и ноги. Прижимались к нашим лицам; моя-то рожа вся мокра, залита, инда ливнями, слезьми, болярыни лик — радостный, и счастием лучится, и сиянье подоблачное изо щёк и лба испускает, а очи горят, инда смарагды арабские самолучшей огранки. Люди завивались невесомым небесным мафорием округ нас, взмывали вверх, под потолок избы, а матицы уже не видал я, и крыши избыной уж не было, и соломы как не бывало; беспредельное звёздное небо воздымалось над нами, мороз скулы и веки остро щипал, звёзды сыпались нам во волосы, на плечи холодной хрустальной половой. Я терял разум, да только и повторял себе: Господи, да будет воля Твоя, Твоя святая воля на всё. Болярыня крепко

держала мя за руки. И начали мы с нею подниматься над полом. В воздухах повисли. Сверху видел я спящую Настасью, деток, сладко во сне сопящих у остывающей в ночи печки. Я шепнул: Федосья, а мы што, сей же час ко звездам и подыдемси? Лишь улыбка взошла ярче, светлее на ея лик, прекрасный, юный, не исхудалый, каковой заимела она под голодной мукой, бичеваньем, дыбой и иной пыткой, а свежий, наливной, румянцем светящийся, на щеках нежный пух, во очах игра драгоценная Солнца лучезарново и текучей воды... Жена! Счастье мужам! Довольство Господа! И Господь красоту любит, не отвергает! Да разве ж правда правдивая, што красотою уберезётся наш многострадальный Мирь от разрушенья, разъятия, развенчания, — от Раскола! Разве ж возможно красоте закрыть путь-дороженьку дикой ненависти, што одна-единая всех людей, да, всех, скопом, великою необъятною толпою, во всеобщую могилу — сгонит!

Медленно опустилися мы вниз. Под стопами босыми я холодные половицы вновь почувал.

Стояла болярня моя, красавица. Плохо я ея мудрости Божией учил. Никакой мудрости она ни под пытку, ни в чёрной голодной ямине не набралася. Там, в посмертии, она вдруг вернулась туда, откуда в неистовую, высокую и суровую веру ушла — в нежность и Солнышко ясное, в песенку птичью, синичью, в радугу Радоницы, в сияющий веселый блин синеокой Масленицы, в нежно-бархатную, яблочную кожицу чуток загорелых по весне щёк, во взмах густых ресниц, ах, песенку мурлыкать, бормотать, а не класть поклоны исполать... всё глубже, глубже во время нырять-уходить, рвать с тяжкой казнью клятую нить... а паук всё ткёт и ткёт серебряный ковёр, всё трудится да трудится безымянная арахна... а девица-красавица всё стоит предо мной, и я ея крепко, крепко за обе рученьки белья держу, ея ручончки во моих грубых мужичьих руках сожимаю... и мню: да ведь то не болярня никакая, то видение мне неизъяснимое, то ведь, Господи, сама Богородица ко мне явилася... то Ты, Господи, Ея, Пречистую, ко мне послал-возвернул, ко мне, малому червю, беспутному протопопишке, направил-отрядил... штобы Она мне, Матерь Божия, Заступница

от всех бед и зол несчислимых... што... што — мне?.. пошто я — Ей, Великой, Превечной, Небесной?.. пошто она обличье болярыни моей приняла?.. не видение ли то бесовское, не соблазн ли то чарующий?..

А рученьки таковы тёплые... а глазыньки таковы сияющи...

Нет, не может бес глядеть так нежно, так солнечно, так всепрощающе...

И повалился я, рук Ея не выпуская, пред Нею на колена. Владычица!.. так возываю, Защитница малых сих! Прости и помилуй! Дай мне знак, што я прощён и обласкан. Хочешь — с Собою возьми. Хочешь — ищо пожить оставь. Весь век суждённый Тебе, Радость, молитися стану!

И тихо, тихо вынула Она руку Свою правую из моей шуйцы. И тихо, нежно мя перекрестила. Люблю, послышался мне Ея шёпот летящий, люблю тя навеки, и даже тогда, когда ты уйдёшь с родной земли — в огне — в небеса; люблю тя всегда, времени счисление потеряеши, протопоп, сколь годов и веков и тьмы тем безсчётных лет буду любить тя и молитися за тя. Нет предела любви! Сколь ея песен на земли и в небеси люди и Ангелы поют! Я тоже ея песню пою. И ты повторяй за Мной. Слова простые. Главное, любимиче мой, с дыханья не сбиться.

И запела. И я запел вместе с Ней.

И так мы пели оба; и я не знал, ту ли мелодию я вослед за Ней повторяю, или вру безбожно, хуже последнево певчево, пьяненьково вусмерть послая Прошеново Воскресенья; и Она то Богородицей во славе и сиянии предо мной представала, то вдругорядь видел я в Ней милую сердцу Федосьюшку, мою понятливую весёлую ученицу, вдову покойново болярина Глеба; а то вдруг повернётся к чадающей свече, застынет, ровно ледяная статуя, и выхватит свечное пламя из тьмы Ея скулу и висок, и глаз, схожий со спелюю сливою, — и рядышком вижу Настасью Марковну, жёнку родную мою, и уж не знаю, кто сия занебесная Жена предо мною, и зачем я стою на коленях и Ея за руки белья, тёплым крепко держу, и зачем с Ней единую песню пою, и несть песне конца и начала, и несть ни молитвы, ни боли, ни печали, ни воздыхания, а только жизнь безконечная.

\* \* \*

(всё кончается)

*мы утешаем себя что жизнь бесконечна мы  
воскрешаем в памяти всех убитых мы разруша-  
ем страшно светло беспечно то что назавтра  
будет во бронзе отлито мы подражаем жизни в  
наших созданных мы лепим жизнь из ветоши  
мёртвой убогой мы именуем жизнью тюрьму  
многоочитых зданий где никогда не слышали ды-  
ханья Бога мы называем войну расколотым ми-  
ром чтоб не проснуться мы пьём снотворное  
зелье мы потерялись меж мором голодом и пиром  
между собачьим воем и слёзным весельем вон она  
слишком рядом последняя встреча Сретенье  
Пасха Исаяя ликуй венцы золотое колечко ты ни  
за что не ответишь я за всё отвечу тихо скажу  
себе всё кончается ну конечно*

\* \* \*

**(Аввакум и жёнка его Настасья в тюрьме.  
Последняя ночь перед казнью)**

Сия последняя, последняя ноченька тьмою навалилася пред сожжением мужа моего, Аввакума Петровича. Сердобольные тюремщики пустили мя к нему в тюрьму, попрощатися. Застенок, я взшла осторожно, холодно, дрожу, тулупчик ветхий на мне, на локтях и подоле истёрся. Старость, это ж нищета, душа тож ветхою становится, и на ветру ея лоскутья сиротливо мотаются. Вот прожили мы с протопопом цельную жизнь, а ничево не нажили, ни яхонтов, ни сапфиров, ни рубинов, ни смарагдов, ничевошеньки, только два старых тулупчика, што на ево плечищах, што на моих плечиках... уже спина бочонком выгнута, станова яила моя временем порушена-подгрызена, а детки, ну што детки, детки росли-росли да и выросли... а мужа моего вот на казнь поволокут. А тяжело, страшно сие, умирати в огне. Зачем огонь, уж лучше бы пулю в нево выпустили, из ружжа застрелили бы, како медведя на охоте, а то ишо секир-башка, а то ишо четвертование есть, вот страшная кончина. Я всё молилась: отведи, Господи, казнь лютую такую, но огонь превеликое страдание, не возьму в толк, как Вакушка сподобится

вытерпеть всё; только всю жизнь нашу и повторял мне протопоп мой: терпи, Марковна, терпи, милая, терпение да смирение две наиглавнейшие Христовы добродетели, и я терпела, и я смирялась. Я шагнула к нему, в руках горшок с кашею держу, он спал, лежал на разстеленном под собою овечьем тулупе. Спит-лежит у мя под ногами, сопит, ровно собачонок. Как он может спать в такую ночь пред смертью, пред гибелью своей? Я заливаюся слезьми, я молюся, я воображаю, как огонь округ мя зачнёт вставати; как затрещат власы мои в огне, и жжёной костью остро запахнет; как станут лопаться и выливаться из-подо лба глаза, ибо неистов жар. Вставай, вставай, муж мой родимый, это я, жена твоя Настасья Марковна! Я пришла проститься с тобой пред казнью твоею! Повернулся ко мне, разлепил глаза и ищет мя глазами, спросонья зрочки плавают, яко рыбы, не уразумеет, где он, долго поднимается с пола, будто рыба из глубины вынырнула и на тихой глади воды, задыхаючись, раскрыла рот. Ну точно, како рыбица, воздух ртом ловит, задыхается. Я провела ладонями по ево лицу, оно всё мокро, будто плакал он ночь напролёт. А может, просто сильно взопрел. Обтерла я ему лоб, щёки, шею, сняла платок мой и ему пот предсмертный-последний весь вытерла, платком боль ево промокнула. Осмысленным стал ево взор. Поглядел он на мя, узнал. Настасьюшка, душенька, ты ли это! Как же тебя сюда впустили! Сюда же никто да никою не впускает никогда! Да мне уж и хлеба сюда не приносят, ведь завтра казнь моя, только воды испить дают. Ах, Настасьюшка!.. горшочек кашки... тёпленькая, принесла мне... Склонился над кашею. Я пошарила у себя за пазухой и вынула лжицу серебряную с Царской печаткою и сухарь. Не помнила, как я дома слепо, рукою дрожащей сунула ложку мужнину и сухарь тот себе за пазуху, ближе к сердцу, прижала хладное серебро и высохший хлеб ко голому телу моему. Сначала лжицу в руки мужу всунула. Он кашу ел. Ноздри раздувал. Рот ладонью утирал, и щёки тож. Горшок пустой на половицу поставил. Я глядела: руки ево тряслися. Протянула сухарь мужу. Он схватил ево и стал грызть, таково жадно, больными, слабыми зубами. Грыз, размалывал во рту, изранил сухарём тем дёсны, грыз и постанывал, грыз да улыбался мне, грыз и плакал,

плакал, я видела, как плачет человек, ядуший жёсткий чёрствый хлеб, последний ево хлеб на земле. Муж мой доел хлеб, утёр рот ладонью, посмотрел на меня. Ну што, Настасья, што скажешь мне напоследок, што вымолвишь на прощание? Мне уже ничево не надобно. Буду тебя слушать и не слышать. Я знаешь, слышу сей час голоса непонятные, будто небо звучит, будто земля под ногою говорит, но не могу словеса различить. У неба есть язык, у земли есть язык, у зверей и птиц, Настасьюшка, есть свой язык, а человек, он сам есть язык, народ, он весь, огромный, говорит на одном языке. Мы с тобою вот русские, язык наш русский, народ наш русский, а любят нас всех на земле али ненавидят нас всех на земле, вот ты мне скажи? Зачем нас губят, зачем люто сражаются с нами? Зачем всё льют да льют кровушку нашу? Я ничево не могла ему ответствовать, слёзы сами лилися у меня по щекам. Я посмотрела на разстеленный на полу тулуп и шепнула мужу: давай ты ляжешь, а я лягу рядом с тобою и крепко-крепко тебя обниму. И так мы будем возлежать, милый мой, так лежать. Мы будем как в стародавние времена, так будем мы с тобой вроде как во прежней любви, только застынем в объятии, лишь в мыслях вернёмся в то милое сердцу времячко, недвижно замрём, будто мы уже лежим в могиле нашей. Не сетуй, какая жизнь у нас севодня; будет ночь, как целая жизнь; как целая жизнь, пройдёт сия ночь перед нами, мы будем видеть всё, што с нами случилось, яко в зеркале, во сне, видение есть тоже сон, а сон есть наша явь.

И он лёг на брошенный на пол старый кудрявый бараний тулуп, я легла рядом с ним и так сильно прижалася к нему, што стали мы единым существом, будто мы оба были один спиленный старый дуб, и таково неразъёмно, едино-одинокое лежал он, могучий, на горящей земле, сей миг подойдут дровосеки, распилят ево, расколют на дрова, и дровами теми дубовыми истопят зимнюю печь; лучше всево, жарче всево горят в печи дубовые дрова.

Я закинула Аввакуму руки за шею и зачала покрывать поцелуями ево бедные солёные щёки, ево торчащие скулы. Ты голоден, шептала я, я твой хлеб! Ешь меня напоследок, пей меня как вино! Я твое вино, я твоя вода. Я мать твоих детей, я тебе матерь, ты сынок мой маленький,

мой Вакушка, малюточка, и санки везёшь за собою на верёвке, кататься с горки, пойдёшь снежками бросаться, мальчонки, друзья твои, уже ждут тебя, веселиться с тобою, играть в зимние игры, не знаешь ты, мальчик мой, што станется с тобою, какой дикою, ужасной смертью ты умрёшь, а за што ты умираешь, муж мой? за веру! за то, штобы люди поняли: не хлебом единым, не сухарём предсмертным единым жив человек; человек жив любовью своей и верой своей.

Люблю тебя, муж мой. Верую в Бога нашего, верю в тебя, верю, выдержишь ты лютую казнь, не будешь кричать о пощаде. А будешь стоять ровно и твёрдо, видя округ себя языки огня. Язык, язык, у огня есть язык, значит, огонь тоже народ, значит, огонь тоже говорит по-русски, как мы с тобою, как все люди наши; огонь тоже человек, значит, огонь суть Бог, потому што Господь создал человека по образу и подобию Своему; значит, муж мой родной, огонь подобен Богу, и то не злая-людская, а Божия сила поборет тебя. Войди в огонь, благослови ево, благослови и полюби твою смерть, хоть сие очень трудно. Я то говорила или он мне бормотал, я уже не понимала; зачем была на земле вся наша жизнь, рождённые нами дети, будут жить дальше они, в свой черёд родят детей, но мы не узрим внуков наших, и наших правнуков, и наших далёких потомков; времена смещаются, времена меняются, времена умирают так же, как люди. Всё крепче вдавливала я моё грешное тело и моё зарёванное лицо в лик и тело мужа моего, и всё боле едиными становились мы с ним, и я понимала: ежели сей час войдут тюремщики и повлекут нас наказывать, они потащат нас туда, на костёр, вдвоём.

В окнах молоком разтекался разсвет. Аввакум поклат руку свою мне на голову. Настасья, глава твоя горит инда в огне, не захворала ли ты, всю ночь бормотала псалмы. Ты молилась всю ночь, я слышал, я знаю. Я тоже молился, и в объятиях крепких, неразъёмных мы друг другу молились, мы оба Богу молились, и Бог разговаривал с нами, и мы Ево словеса повторяли, а теперь утро, сочится разсвет сквозь грязный бычий пузырь, што вставлен в оконце, я таково благодарен тебе, слышишь, што ты у мя напоследок побывала. Ты жена моя, ты крестик нательный мой, ты голоса деток моих, ты любовь моя, прощай, лю-



бовь. И он покрывал поцелуями лицо моё, так же, как я в ночи покрывала безсчётными жаркими поцелуями его лицо. Разсвет струился, мы лежали молча, затрещал ключ в замке, взошёл тюремщик и зычно крикнул: подымайся, осуждённый на смерть! последняя молитва, исповедь, последний глоток воды из кружки!

А ты, баба, проваливай, беги отсюда што есть силы, и штобы только пятки засверкали, иначе и тебе несдобровать, наш начальник суровый судья, может и тебя осудить на смерть, как жену преступника. Я встала, заправила волосы за уши, выпрямилась гордо, говорю: осуждайте, на казнь ведите, смерти не боюсь, и муж мой смерти не боится, не боится ничево, ни зверя дикого в лесу, ни боли, ни Ада, а смерть, што она? егда она придёт, нас уже не будет. Ведите меня казнить! Тюремщик грубо схватил мя за плечо и вытолкнул за дверь; толкнул в спину. Я чуть не упала, выставила перед собою руки, покачнулась, побежала, и слышала, крики мне в спину пускали, возгласы, яко снежки, в мя швыряли: беги, баба, беги! Ты, баба, всё одно зайчиха! Как вы, бабы, смелыми не притворяйтесь, вы не только смерти боитесь, а и побоев мужа, плётки, што по спине вашей да по раменам да по заду ходит туда-сюда! Родов боитесь ваших, валяетесь по уши в кровище, орёте, блажите недуром, и лишь немногие из вас, баб, умеют муку терпеть! Я отбежала от кричащего тюремщика, стала, обернулась и крикнула: терпи и ты, бедный человек! Терпение и смирение самое главное в жизни и смерти!

\* \* \*

#### (Аввакум и я. Песня огню)

Что я. Я к тебе пришла. Я успела. Мне запрещали, мне говорили, к тебе нельзя, мне кричали: сюда нельзя! и я пошла туда, куда нельзя ходить никому, куда никто не проникнет никогда. А я туда иду потому, што там ты, потому, што там только ты, и боле никово; там, где ты, опасно, там, где ты, жить нельзя; там нужно дышать огнём, там можно дышать огнём лишь тому, для ково огонь суть любимый, родной воздух. Мы живём на земле? Нет, мы живём в огне. Тот, кто не сгорает в огне, есть птица Феникс. Милый мой Аввакум! Отченька родимый мой! Я всегда

была птица Феникс. Я всегда была Красной Птицей, меня сжигали, торжествуя, мне выламывали крылья, мне выкалывали глаза, мне вырывали язык, но я оживала, я поднималась, я воскресала, я снова пела, и самое важное на земле, Аввакум, батюшко мой, это снова запеть, когда ты онемел, когда у тебя вместо голоса только страшный хрип в глотке, только боль в груди, только боль, а больше ничево; а боль? ведь она тоже песня. Для тово, штобы превратить твою боль в песню, нужно так немного! Нужно просто переступить порог. Нужно просто сделать шаг.

А што за порогом?

Порог, Аввакум, сие наша смерть. Из нас, живых, никто не переступит порог с тем, штобы вернуться обратно, мы никто не возвращаемся. Ты слышишь мя, мы не возвращаемся никогда, не вернулся и ты, время пожрало тебя, время есть огонь, огонь есть время; то, што пожрёт огонь, не вернётся больше никогда. Да зачем же эта стихия забвенья? Время не ветер памяти, время пепел забвения; всё, што тонет во времени, всё погружается на дно небес. Звёзды... сиречь кресты и камни, што лежат на дне неба. Нырни в небо, пронзи собою толщу чёрной ночной воды, прямо пред тобой горит жемчужный Крест твой, звёздный Лебедь, раскинь руки, яко он крылья, лети, лети в огнях, сгорай, это жизнь в небесах, в небесах жить пусто, трудно, огненно, дымно, там нельзя дышать, там ты не слышишь, как бьётся сердце, не слышишь, как тонко, жалобно плачет ребёнок, не слышишь, как поёт мать у колыбели, как нежно шепчет она младенцу: спи-усни, спи-усни, угомон тебя возьми.

Мой милый Аввакум! Тебе так же пела мать. Я спою тебе нежней твоей матери; я спою тебе здесь, в Иномирїи, куда не ступала нога живаго человека. Здесь живут только души; здесь живут те, кто ушли прочь, кто ушёл из Мира давным-давно, мы уже не вспомним их имён. То, што я помню твоё имя, это чудо, я ищо помню его; Боже мой... отченька... я не помню только тебя. А слышу дыхание твоё; дыхание жизни твоей. Ты для меня жив. Ты для меня так жив, што многие живые люди рядом с тобой мне кажутся ходячими мертвецами. Иной раз понимаю: я живу на одной земле, а люди, кто живёт со мною в одном времени, живут на земле иной. Мы живём

в разных мирах, и мне надо сделать только шаг, только шаг через пропасть, и преодолеть ужас, преодолеть пространство и время. Ежели я сделаю этот шаг, я окажусь в одном чистом Райском воздухе со всеми моими любимыми, но я делаю шаг не к ним, а прочь. Я делаю шаг туда, куда ходить нельзя. Туда запрещено являться живыми. Но это моя земля, и это твоя земля.

Мой милый... Аввакум... отченька... ты тянешь мне чашку. Што в ней? Вода? Вино? Отрава? Может быть, туда ты налил огонь, и мне надлежит из рук твоих выпить огонь? С большою радостью! С превеликим счастьем! Я ведь дышу огнём, живу огнём, питаюсь огнём. Я пью огонь по утрам и вечерам, я укутываюсь в огонь ночью; когда мне холодно, у меня огонь вместо одеяла, огонь вместо пуховой шали, огонь вместо простыни: я заворачиваюсь в него; и я понимаю: мне надо молиться Богу огнём, я раскрываю рот, и я выталкиваю изо рта моево огонь, самые пламенные на свете слова, их никто во всём свете не может произнести, их запрещено произносить живым людям, и только я говорю их, только я их пою, потому што это ты, отченька Аввакум, научил мя петь огнём. Песня, она тоже огонь, песня.

Это благословение: тебя крестят огнём, и ты воскрес; стоишь, тебя бичуют огнём, и ты сопротивляешься страданию; над тобою раскидывают огонь, как шатёр, и ты тихо, нежно и сладко засыпаешь под крышей огня, в заповеделье, заресничье, там, за порогом боли. Шумит, гудит и бьётся огонь, вот твой костёр, мой отче, мой Аввакум. Я шагаю во твой костёр. Туда нельзя шагать, но я хочу сгореть вместе с тобой. Я делаю это. У меня нет другово пути. Это моя земля. Это мой Раскол. Это моя вера. Это мой костёр.

Зачем ты вскидываешь руки свои? Ты хочешь крикнуть мне: сюда нельзя! Не ходи сюда, не обнимай меня, не вставай вместе со мною во твой костёр! Я всё равно встаю, я всё равно шагаю. Это моя война. Война истины со злобой. Война правды с неправдой. Война героя с палачом ево. Сколько войн будет на земле после казни твоей, ты ищо не знаешь. Зато знаю я, я; я все эти войны пережила, прожила, я прошла их насквозь. Я слышала крики детей, я видела слёзы матерей. Я зрела поле битвы, где железною травой, сметённой в Адовы стога, валялось искалеченное оружие; где топоры и танки, са-

мострелы и винтовки, ловчие сети и кольчуги, автоматы и огнёмёты лежали огромными горами смерти и ужаса, а посреди искорёженных железак лежали люди, кто живой, кто мертвый. Они все были ранены, умирающие; а те, кто мёртв, уже принадлежали Богу.

Богу принадлежат наши тела. Богу назначены наши души. Наши души и сердца это дрова, ими мы отапливаем Божии просторы, целое небо; нас всево лишь бросают в печь, и мы сгораем. Мы служим пищей для огня войны. Огонь войны, я прошла ея огонь, милый мой Аввакум, из конца в конец, и я ищо пройду ево, потому што сколь земле суждено жить, катясь в океане чёрного Мироздания, столь ей суждено воевать. А с кем воует земля? Да она воует, милый мой Аввакум, сама с собою, больше и ни с кем. Человек сам в себя стреляет. Он сам с собой воует; и он не знает, што, стреляя в себя, убивая себя, убивая во другом, во враге, себя самово, он на самом деле неистово, смертно воует с Богом. Как можно воевать с Богом, ежели Бог тебя, человека, послал на землю за совершенно другою надобой? Што Он тебе назначил, неужто ты не помнишь? Он просил тебя любить, а ты ненавидишь. Он просил тебя рождать, а ты убиваешь. Тогда, ежели ты сделал выбор, безумец, в пользу вечной Зимней Войны, единственная награда твоя, жалкий человек, это огонь.

Пусть огонь войны, огонь возмездия, казни, торжествуя, пожрёт тебя. А што, ежели огонь уничтожит всё людское море, всё человечество, што бьётся прибоем, утомительно, настойчиво, тоскливо, в изветренную, тоскующую землю? Людское море... ходят волны... неостановимый кровавый прибой. И вон там, на горе, возвышается Крест, он пылает огнём, кто ево поджёт, там висит Распятый, и Ево подождли, горящий Крест, ево видно издали, как маяк, што видать с моря; видно всем, кто плывёт, кто в пути, невозможно доплыть до берега, поднимается буря, но Крест горит, и ты плывёшь на огонь, ты всё равно идёшь, плывёшь, бежишь, ползёшь, летишь на Крест-огонь, ты придёшь туда, куда нельзя, ты выбираешься на берег, подходишь к пылающему Распятию, обнимаешь Ево подножие и кричишь: Господи! Возьми меня в Свой огонь! Я сгорю с Тобой в любви и вере моей! Эй, мой милый Аввакум, я добежала до тебя, я спела ог-

ненную песню мою! О нет, отченька, твою, истинно, твою! Я хрипела твоей глоткой! Я билась твоим сердцем! Я дышала твоею душой! Я знала, всегда это знала, што я вспыхну, загорюсь, запылаю и буду вечно полыхать твоим огнём, ибо нет у меня другою пути, нет! Другой жизни, иной судьбы у меня нет! Принимай меня, отче, твой вечный огонь!

Принимай меня! Я забыла, как меня звать, у меня больше нет имени. Я только песня, я гасну на губах, и я вспыхиваю опять. Я Красная Птица, машу крылом и взлетаю с любовью пепелища в широкую громадную синеву, в черн ночных туч, в лунный серебряный свет, в отчаянное алое золото заката, это Солнце в дегтярном, надмирном, угольном, посмертном небе, этот огонь выжигает в душе всё мелкое, обманное, жалкое, хитрое, жестокое, слабое, враньёвое. Сколь лжи на земле, сколь подлога, предательства, сколь... Огонь всё пожрёт, всё спалит. Великое пламя свечи во храме, свечные огарки близ закопчённого киота в нищей избе, берёзовые поленья в печи, кострище на площади в военной ночи, казнь лютая, когда к столбу привяжут человека и вязанки дров угрюмо бросают в огонь, и всё выше, до небес, взлетают алые, золотые языки... так умирал ты, так до сих пор ты умираешь. Я стою рядом с тобой, я обнимаю тебя, я становлюсь твоим огнём. Это я казню тебя, а ты благословляешь меня. Я огонь; я целую тебя в уста; ты огонь, ты обнимаешь меня горячими, пламенными руками, и мы одно. Я твоя болярня, твоя Настасья Марковна; это мы с тобой огныне и навеки муж и жена. Два огня. Две судьбы. Мы стали одним. Мы стали огнём. Не ходите за мной! Не ходите туда, куда ходить не надо никому из живущих; там один огонь, сплошной огонь, там лишь огонь и больше ничего. Моя любовь и моя смерть, моё благословение и мой Божий костёр, моя Последняя Книга, в полный, безумный голос спетая мною.

\* \* \*

#### (разбойники-воры)

*я не верю ни в какие перемирия бумаги в расстеленные ковры подписей и печатей в переговорах безумной отваги где вон тот — скomorох а*

*этот — предатель я не верю в замирение оно на минуту отвернемся — опять разрывы снаряды это порох Раскола для Царского салюта эти листья винограда — Царице наряды эти перья золотые вожака-фазана этот хвост малахитовый героя-навлины расстреляли Райский Сад полили слезами Адам с Евой бегут — им стреляют в спину И вяжи не вяжи живый в помощи пояс и молись не молись за Мирь протопоп опальный а ударят разрывными и прощаются поздно помирать хоть и рано зато изначально это просто война расколосось время разошлась прореха вспыхнула мета на пылающей площадке стою меж всеми и летит наша смерть патлатой кометой и подносят нам смерть на железном блюде и кричат: угощайтесь разбойники-воры я не верю ни в какие перемирия люди ни в какие клятые переговоры*

\* \* \*

#### (Аввакум и огонь. Разговор с огнём)

— Смущённое заячье сердчишко устрашается, больно да часто бьётся, а смелое сердце не устрашается. Каково часто я повторял, шептал: блажени нищие духом, ибо тех есть Царствие Небесное, и дале бормотал из святой Нагорной проповеди: блажени плачущие, ибо тии утешатся. Вдумайтесь, людие! Мудрость Божию несудим на блюде. Не богачи блажени, не Цари, не князья и патриархи; не те вовсе, кто власть имеет и властью поигрывает, како соколом на плече, на рукавице, остроглазым, охотничьим. Всяк верный не развешивай ушей тех и не задумывайся: вот ты, кто любит и верует истинно! Не бойся ничево. Гляди храбро во огонь палящий. Ты, огонь, это ты бойся мя! Ибо я гляжу во тя, огонь, дерзновенно и радостно. Я, огонь мой, я на твоея страже, ни сна мне ни пищи, стою! Да штобы ты ярко, ясно горел! Штобы — не гас! Светил мне промеж глаз! Я, хоть и протопоп, да пошли мя на войну — стану сражаться не хуже каково витязя-вояки; даром што Книгу Святую ночью читаю, пока под полнощными звёздами лают и лают собаки! Ах, огонь, мя не тронь! А хоша бы и тронь! Отскочи да охолонь! Я и сам ярко горю; Богу Господу и Владычице Богородице все двери души отворю; и они оба, не-

бесные жители, на моё пыланье глядят, а время, время-то не воротится, людие, назад... И мы с тобою хотим жить и дышать; в счастья любить, а не в мучениях помирать; а ты, огонь, што воздымаешь в зенит языки?! Я тебе устрашенье, а ты, бедный, бесишься от тоски! Што, огонь, доски трещат, брёвна чадят, ветки пылают, дыма не зрю от слёз... Слава Тебе, Боже наш Господи, слава Тебе, Христос!

— Ах, я, огонь, огнище окаянное, зрю тя, Аввакуме, сквозь Антихристовы пределы. Собаки бешаные лают, безустанные, а я горю, разлучаю душу с телом. А я горю, мне печали нет, я был и буду, и я есть сей час; я огонь, приравнён страшному чюдо, не держите мя про запас. Для меня Антихрист — враг, а казнимый — любимый, я люблю ево просто так, люблю ево всем пламенем, жадно-неизъяснимо! Противу мя люди грудью встают, напролом идут, мя хотят остановить, погасить... умертвить. А я всё вяжу-вяжу мою золотную нить. Погибая во мне, в жаре-огне, человек просит: пить! А я в битву бросаюсь, в сечу, поджигаю стога сена, яко во храмине свечи, и люди, мной возожжённые, живыми свечами во поле горят, горят их власы и наряд, горят их руки-ноги, горят их крики при дороге! Горят их судьбы-жизни! Ах, водицы пробрызни... Я не Антихрист. Я Богом рождён. Я исшёл из снежных пелён. Надо мной песню Богородица шептала. Полярная звезда вонзала в мя тонкое жало. Сколько людей носило мя в себе в радости и в печали! Они об том не знали. Я был в конце. Я был в начале. Мне поклонялись; мя не замечали. Я выжигал целые земли, целые страны. Я плясал на пепелищах страшно и пьяно. А ты? А ты, отче Аввакуме, што предо мною еле дышишь?.. Возстани, душе, возстани, што спиши!..

— Огонь, ты мне искусство! То тебя густо, то без тебя пусто! Огонь, ты Дух ведь Святой! Куда ты бежишь, траву сухую поджигаеши собою... постой... Я мучим тобой. А в темнице мне худо, дико без тебя. Тюремщики несут мне воду, а надо бы огня! Такая уж у мя без огня судьба: не прожить мне без Божьево пламени и дня! Яко наг, яко благ, яко несть ничево... огонь пожрёт моё жнитво, огонь спалит моё естество, а всё огонь — моё святое торжество! Цепи, железяки, зубастые собаки, огни во мраке, факелы, пылает смола... душа, а ты, матушка, што же?.. жила?..

не жила?.. Дождь, ливень, хлад, мраз, — с полатей слазь, гремит под сводами приказ, а мы в сём Мiре навек ли? на час? Никто не знает, огонь, часа своево; никто, ни один живой. Нырну во тя, огонь, с головой! Никогда, огонь мой, никаким благом не соблазнюсь. Тя вместо хлеба поднесут — проглочу тя, слезу пролью да утрюсь...

— А ты, Аввакуме, разве не страшишься Антихриста? Меня, огня, топора да висельцы не боишься, нет? Огонь, я всё человечье выметаю чисто, начисто выдуваю из Мiра и стон, и плач, и закатный свет! Я как богат! Богаче всех царей в парче, зело изукрашенной перлами и финифтью. Я сам золото! Мя нищим швыряй, на площадях монетой раздай! Грядущая война на мне одном висит, на моей золотой нити. А хлестну — так глотки всем залью: через край! Моя пирушка, полоумней день ото дня! Мой праздник безумья и смерти! Ни царь Давыд, ни царь Соломон песню не спели так про меня, как ты, Аввакуме, да к тебе на костре твоём подойдите, посмейте — не сможете преступить последний порог огня!

— Ах, огонь, огонь ты беспутный... Орут люди, слуги Царя нашево: стреляй, вешай, руби, пали да жги! И подначальные стреляют, рубят, вешают... поджигают, и пламя идёт стеной... Власть-то всегда мнит: все вокруг — враги, лишь враги! И не зрит, не чует, што там завтра станет с тобой и со мной... А мне больно! А мне — довольно! Довольно, досыта накормили мя тобою, огнём! И мне от тебя, огня палящево, и в ночи светло как днём! Церкву нашу разорили, унизили, растоптали; выжгли ей новомодьем нутро. Растащили Святаго Духа сияющее добро! Мощи крадут... Богородицын образ крадут, по снегу из храма — на ветру ташат... Сдирают оклады, венцы и наряды... веру казнят, и ея огонь не вернёшь назад! Святой огонь... да, ты же можешь быть святой... Куда ты за татями, катами?! постой!..

— Аввакуме, я жгу древо жизни, мировое древо. Ель изукрашену. Живую колючую башню. Страшно тебе?! Мне — не страшно. Я привык. Слепит мой лик. Я сам безсмертен, я сам нетленен, не изнурён временем, вечен и неизменен. Вы, люди, мне кричите: радуйся, огонь! Да, я свят. Мя — не тронь. Я сам себе всадник и конь. Я летящее пламя погонь. Ешь мя, я вкуснее



просвиры; пей мя, я огненное вино; я Причастие нового пира, старый мир мною сожжён давно. Аввакуме, я с тобой неразлучен. Я есмь ты, а ты еси я. Прегрешения наши сгорают, звёздами светят колюче. А мы, обнявшись, вместе стоим — на краю бытия.

— Огнь! Огнь! Ты слышишь мя! Отыди! Я тя ведь ничем не обидел! Больно мне! Больно ты обймаешь! Больно дух из мя вынимаешь! И молитовку-то тебе не прочитаешь! Без слуха ты, без звука! Одна от тебя смертная мука! Уйди! Уймись! Погасни! В одночасьи! В безстрастьи! Во всевластьи! Пламенное Распятие! Жаркое моё проклятье! Моё золотое, по костям жестокой судьбой пошитое платье! Не хочу умирать я! Не хочу... умирать я...

— Молчи, Аввакуме. Молчанье меж нами. Тишиной во храме. Лишь свечи горят, лишь горят мои вечные свечи. Болью. Слёзною солью. Далече. Далече.

\* \* \*

#### (Аввакум и Бог. Разговор с Богом)

Господи Боже мой! Господи Сил! Редко вот таково беседовал я с Тобою. Говорил я с Тобой каждый день, разгонял именем Твоим лютую боль, а вот скоро, чувю, пробьёт мой час. Никто не знает часа своего, когда наступит Твоё торжество. И я нынче готов раскрыть Тебе сердце. Граблями мыслей, воспоминаний пройдуся по судьбине. Нет, Боже мой Господи, не надо мне в час сей ничево вспоминать. Тебе исполать, Тебе душу пред концом открывать. Дай мне знак, што Ты слышишь мя! Дай мне знак вспышкой огня. Дай мне знак Твоею тонкой свечой, вот плачет она, и я гляжу горячо, и я гляжу на Твою свечу тяжело, Господи Боже мой, моё время ушло. Настаёт время иное, время Твоё, открывается мне иное бытиё. Иная радость распахнулась вратами. Што там, за порогом, станется с нами? Вот, Бог, Твой порог; перешагну ево, не надобно больше дорог, не надо мне земново ничево, хочу голубем ввысь взлетети, Твоё торжество. Так я говорил, шептал, слушал, што ответит Господь мой, но Он молчал... таково молчит лодочный причал... А я-то, ну, я дошеник на сибирской реке. Я хочу отсю-

дова уйти налегке. А ты, Бог, молчи; поперёк зажжённой свечи не стою, ничево не знаю у судьбы на краю, сердце бьётся, копьём колет под рёбрами, Мирь недобрый...

Господи, а Ты добрый? Ежели Ты добр ко мне, не веди мя наказать! Тебе не спалось, како и мне! Не крикни надо мною Последний Приговор! Не тать я, не преступник, я лишь жалкий на земле протопоп, Тебе в поклонах разбивал лоб, Тебе в поклонах жизнь дарил, лишь о Тебе одним людям говорил! Лишь о Тебе народу пел!.. допеть до конца не успел... Это не молитва, Господи, это песня, моя последняя песня... на краю пропасти, на краю бытия, скажи, слышишь мя? видишь мя? язык огня зришь? огонь тоже народ! огонь бьётся и бьётся, огонь умирает, яко человек, огонь воскресает навек. Огонь это я, я это огонь, возьми мя, Господи, во Твою ладонь, крепко в кулаке Твоем сожми, для тово родились в Мире людьми, штобы под конец во Твои руки попасть, ощутить Твоего дыхания сласть, почуять Твоих очей ожог, Ты еси Бог! Я распластался на полу избы... зрел пред собою гробы... могилы, могилы... война... сколь людей погибло... сколь народилося вновь на белый свет... зима, за окном волчий вой... новые войны идут в новый бой... люди сгорают на огромных кострах... поле битвы, тяжёлый страх... сеча лютая... жить осталось минуто... ножи, копья, секиры на облако положи... врага убил?.. да только, мужик, пред смертию не дрожи...

Исповедь, грешный протопоп, Богу шепни... и над тобой возгорятся огни. Вечно, вечно... жить вечно, вечно, Господь... што же будет с ним? што будет с Миромъ нашим, он же округ нас? и ему пробьёт отверженный час! и ево расколет Звёздный Меч! и не хватит на похороны Ево тонких свеч... Тёмный воск мёдом пахнет, землём... Господи, не знаю, што на небе станет со мной... Господи, на руки мя, яко робёнка, прими... Господи, вот я умираю меж людьми... а люди родятся, а люди уйдут, земля им бедный, мгновенный приют, земля им, Господи, святая юдоль, грешники все, и для всех былъ и боль, а Ты нашу всеобщую боль испытал, когда на Кресте висел в окружении скал, когда расколола молния надвое небосвод, когда Ты кричал: пить! и не слышал народ... когда копыеносец Лонгин тебе вонзил пику под ребро, а Ты шеп-

тал: где же ты, добро... а Ты бормотал: где же ты, любовь... а Ты молился: Господу не прекословь... Отец мой! Отец мой! Не оставь мя, не покинь! Я нынче умру, обращусь в лёд и во стынь! И мя похоронят, и не воскресну я! А может, воскресну, то доля моя! И я ея людям всем покажу! И я пройду по вострому ножу! С одной стороны пропасть, с другой небеса... в мучении жить осталось полчаса! Распятие, Господи... было у Тебя... у мя будет огонь... такая судьба...

Господи, слышишь ли мя... дай мне знак полыханьем огня... Дай мне знак тяжёлой рукой... Я ухожу от ужаса в покой. Я ухожу от бури в тишь. Господи, да отчево же Ты молчишь. Господи, осени мя Крестом Твоим. Я лишь человек, я разойдусь в сизый дым, я дымом с земли в небеса улечу, задуй мя, Господи, Твою свечу, накрой мя, Господи, мой огонь ладонью Твоей, мало, сирого средь многих людей; бедново, грешново протопопа Твоево... да возникнет, Господи, Твоё торжество.

И так Господь мой мне отвечал: Аввакуме, сын мой, начало всех начал! Успокой душу твою миром, утешь песнями людей, пробьёшь во скорби брешь смертию твоей, слезою твоей искупишь грехи, мерцают углями в кострище стихи, над тобою мальчонка прочитает стихи из Евангелия... валенки ему велики... Я от него на расстоянии руки... Я тебя прощаю, Аввакуме, сын мой. Ты ко Мне вернёшься, ко Мне домой. Ты возвращаешься. Окончен твой путь. Положи голову ко Мне на грудь. Я тебя крепко-крепко обниму. Сниму с плеч твоих скитальную суму. Дам в руки тебе свечу, ея зажгу: молись другу, молись врагу. Молись ты Мне и смерти твоей. Смерть это жизнь иных людей. Смерть это радость, собой ея согрей. Смерть это полог, откинь ево скорей.

Узри ея Царство. Узри ея чертог. Там Я царю, твой предвечный Бог. Я всем Отец, вы дети мои. Я лью на вас огонь великой любви. Я лью на вас огонь из широко распахнутых глаз. Я знаю каждый день, Я вижу каждый час. Люблю всякую смерть, благословляю всякую жизнь, ты, сын Мой, крепче за руку Отца держись. Ты мне молись. Един Я для всех. Я твой плач, Я твой тихий смех. Я твоя слеза, скачусь по щеке. Я твоя звезда, горю вдалеке. Я есмь всё. Слушай! так было всегда. Я есмь всё, што лишь придёт; всё, чево не

будет никогда. Я есмь густота, Я есмь полнота. Я есмь последняя красота. Я голод и холод, иди по Мне босиком. Я снег твой, твоя метель, сарай твой под замком; сундук самоцветов, руки в Мя запусти, зажми Мя, драгоценново, в жалкой замёрзшей горсти. Подари Мя любимому, любимой в дар отдай. Выпей, иначе перельюсь через край! Вкуси тело Моё во оставление грехов... Мирь умирает, уходит, жил-жил, да и был таков. А был-то каков, сын Мой? помнишь ево? Помни всё в Мире, помни дух и естество! Помни глаза детей, помни вопли вдов, помни, как Мирь военный суров. Помни: кровь льётся, застывает на холоду. Помни Праздник Мой великий раз в году. Мирь огромен, как Я! Мирь это Я. Значит, Я и есмь твоя семья. Ты вернулся в семью. Ты вернулся домой. Што стоишь, Аввакуме, протопоп Мой немой?! Разомкнул уста. Вымолвил: слава Богу моему. Ведь глаза закроешь, ныне уйдешь во тьму. Да не во тьму, Аввакуме, нет, а в ярый огонь! Огонь сей Моя ладонь. Огонь сей рыбацкий костёр. Огонь сей, как секира, остёр. Огонь сей корона Царя. Огонь сей зажжён не зря. Огонь сей неугасим; ты вовек не узнаешь, што делать с ним. Он выше тебя. К разрушенью привьк. Он безконечен. Яростен ево лик. У огня есть языки. Они взлетают ввысь. Войди в огонь. Помолись. Оглянись.

Мирь это ты. Пускай Мирь сгорит. По тебе бабы заплачут навзрыд. А ты, горе руки подъяв, ты знаешь, што Мирь и прав и неправ. Ты знаешь, Аввакуме, вот Я над тобой. Ты слышишь, Ангел судною трубит трубой. Мирь твой песня. Широкие крыла. Мирь твой горит в Моём огне дотла. Летит Мирь твой, летит между звёзд, горит в черноте кометный хвост. Горит Златая Корона, Я Царь, Я Царь, Космос твой, Господь твой, твой Государь. Всяк падёт ниц у Моих ног. Сколько лиц, сто лиц, и всякий одинок. И всех обнимаю, и всех люблю, и зрю в каждом душу Мою, и зрю в каждой частицу Мою, и зрю: родится там, на краю пропасти младенец... это Я опять... а вы всё будете Бога своего искать. Мой сыне, Аввакуме, Мя не ищи никогда. Я здесь, твой Господь, я счастье твоё и беда. Твои объятия, твой Крест, твой костёр. Твой Звёздный Нож, тяжёл и остёр. Твоя молитва, упование твоё; твоё на ветру метельное бельё. Твой последний, из огня казнящево, крик! а люди бор-

мочут: горит старик... а люди плачут: как страшно человека казнят... ведь жизнь никогда не вернётся назад, вернётся лишь Бог, вернусь лишь Я, восплачь, Аввакуме, на обрыве бытия, помяни Мя, Аввакуме, в молитве твоей, Бога Господа, одиноково средь людей. Ведь Я человек, ведь Я твой Бог, ведь Я, как ты, сирота, одинок; одиноко, в небе раскинув руки, лечу, подобный костру, подобный лучу. Я знаю всё, Я не знаю ничево. Терпи, Мой сын; твоё торжество.

\* \* \*

**(девочка у ночного костра)**

*О кровь война превыше слов Погибнуть не хочу  
в мя не стреляй Наш Раскол наш навечный кров  
Кровь перелётся опять через край Я стала ребёнком  
я сижу у костра Вернулась древность  
больна и остра Люди пищу готовят на дне котла  
Варятся сегодня завтра и вчера Малютка  
тихо близ огня сидит В отрепьях одели спасибо  
народ Малютка тихо в огонь глядит Сердечком  
сложен ея скорбный рот Огонь отражает ея в  
ночи Златым зеркалом красным стеклом Девчонка  
скажи что-нибудь не молчи Нам крики и слёзы  
всё подделом Старуха зачерпывает из котла  
Старинным половником в миску льёт Жизнь  
кровь смерть дым пулю из-за угла Живая цель  
недолёт перелёт И девочка тихо миску берёт Из  
рук старухи и тихо ест Ночной мороз и созвездий  
ход Грохочут разрывы окрест окрест Война  
про тебя и сказать нельзя такая ты страшная  
никому Огонь отражает мои глаза Текут мои  
слёзы кровью во тьму*

\* \* \*

**(Аввакум и кровь, вновь и вновь.  
Разговор с кровью)**

**А**х ты, моя кровушка алая, шалая, на тебя любовь едва дышала, ты то текла, то молчала, от красного истока до красного причала... ты не остановить, ты моя алая нить, привязан я тобою к земле, горишь Алатырь-камнем во мгле, а я знаю: ударишь изнутри, таково силён удар, бросит мя в полымя-жар, кинет мя в ледяную реку, и узрю всю земную кровь, што лилась на моём

веку, и почую, како меж пальцев, по кулакам, по щекам она течёт, пятная шкуры одежки моя, разцветивая алыми маками лёд, да уж всево мя она залила, я горю в ней, в крови чужой, сгораю дотла, стою, весь красный, из-за потоков кровавых не вижу Мирь, кровушка ево прожгла до дыр, а дыры те свистят да сквозят: застынь! трава-попынь! никогда не вернёшься назад! А кровь вернётся, лишь кровь твоя! В детях-внуках, на кромке Иново Бытия!

Удар... удар... страшно себе шепчу... кровь, ударь в мя, на красной сковороде изжарь, тепло-калач отдай палачу... ведь каково это Христос Бог нам на Вечере Тайной рек: пейте из чаши вси, сие есть кровь Моя, а я всево лишь Бог, всево лишь человек...

Ах ты, кровь багровая, лице твоё железное, суровое, лице твоё вольное-текучее, наплывает красною тучею... багровая-багряная, от бешанства военново пьяная, от угара любовново горячая... целую и плачу, исхожу кровию и плачу... Ах, алый изугень, плывут мимо тя Царские струги... Горячая, густая, такая красная, такая простая, такая жаркая, жадная, жирная, живая, плывёт и наплывает, уходит в землю и снова волны воздымает, вот на морозе дымится, вот на жаре запеклась... вот льётся во грязь, и втоптали во грязь, и с грязью смешалась, с матерью-землёй, великая кровь, то день неизбывный твой... как быстро ты сохнешь-засыхаешь, красный цветок... я в крови моей лежу, одинок, лежу на поле битвы, на поле любви, разворачиваются предо мною свитки, кровушка, твои, красный пергамент, кожа красна, к пальцам, губам липнешь, пылкая, одна, жжёшь, огневая, больней огня, пунцовая, немая, вековая, омываеши сердце, душу храня... О, ты кровушка-кровь, тебе не надобно слов, ты красней брусники, рябины розовой, ты свежа и молода во старушьях телесах, птицей поёшь красную песню средь плачущих, диких людей, среди бедных зверей, средь Божьих рыбаей... сощурюся... и так ты зрю на морозе... странная ты... то крылом сиза голубя отсветишь... то в потоках твоих вспыхнут алые кресты... а ведь, кровь, ты в Чашу Грааля собрали, ты же Богова, Богова, Богова, Бо... ты, оставшиися немой и слепой, Божией стала судьбой... распахнутся си-

зые крыла, и душа возлетит в небеса... кровь, ты драгая красная бирюза... закатом на западе горьком спеклась... человек — то твоя ипостась... лишь тебе, лишь тебе исполать... человеку, кровь, тебя не понять...

Ах, угрюма, темна... твоя темень зело красна... то холодна, то пламенна, инда война... то, преисподняя, черным-черна... то празднично ярка и чиста, алая гвоздика... кровь подле Креста... на колючей наледи... на резучем снегу... бормочу тебе молитву, да не смогаю, не могу... а ты течёшь по лбу и скулам, лик заливаешь мне... сгораю во красном твоём огне, как бы во красном сне...

Красный омуль, красный осётр... алый рыбацкий на бреге костёр; жабры живые топырятся в ужасе-боли, нож остёр...

Кровь, где твоя невинность? Где оправдание твоё?! Ты пятнаешь кольчугу! Распишешь бельё! Ты жарка и порочна! Ты всех захлестнёшь — не по хорошу мил, а по милу хорош! О, ты безценна... ты собирать в блюдца, чаши, миски, бочонки... ты льёшься мощно, ты плачешь тонко... тонкой слезою... алой струёю... ты, моё сокровище, пребудь со мною... Не желаю, чтобы ты старая стала, гнилая, чтоб во грехе погрязла, потекла во Ад от весёлого Рая... А хоть я, Аввакум и грешен, да на первом суку, яко разбойник, не повешен, и лучше пушай буду я людям жертвой, и, кровушка, прольёшься ты щедро, без меры, лучше, выше ведь мука смертная, чем предати Солнце нашей старинной веры! Мученики Ангелы. Мученики невинны. Мученики в огне горят, бичам подставляют спины. Мученики светлы, а палачи окаянны. Кровь мучеников священна! Боль мучеников желанна... Кровушка страдалецев! Ты праведная, святая. Прорезаешь красным ножом черноту, втекаешь во преддверие Рая! То застываешь красным льдом. То алым кипятком возстаёшь-бьёшься. То скоморохом с малиновым бубном пляшешь, медведюшкой ревьешь, смеёшься!

Душная, страшная, кипучая, дикая, пропятаешь Пасхальны просвиры и душистое брашно, глядишь кривыми алыми ликами... Глядишь ликами ясными, красотою отмеченными, и частоколом — во храме жалкого тела — твои красные, дрожащие, тонкие свечи... По

ним льётся пламя твоё, по алым ветвям, по густым красным хвощам... по дрожащим ногам-рукам... по перевитым жилам, по святым мошам, по страстным, гордым векам...

И што? Што ты-то мне скажешь-шепнёшь?! Я — твой вострый нож! Захочу — тебя отворю! Захочу — сам с тобою сгорю! Захочу — обниму ты и с тобою польюсь поперек январю... А у других народов кровь, она какова? Это тоже ты?... это ты ли, што молчиши, дышишь едва? Чернокожие чернокожники... бешаные мавры... угры-бунтари... тевтонские собаки... мангазейцы, што живут во снегах, во чертогах Зари... красные океаны бурлят, лодчонки по крови скользят... люди-люди, чтоб вас другие люди убили, вы послушно встаёте в ряд... што Запад в крови, што Восток, всяк преступен, и всяк одинок... у всякого ручонки в крови... молись не молись, живи не живи... люби не люби, всё одно льётся кровь... так зачем же Ты, Христос Бог, на землю нисходил?! где же Твоя любовь?!

Где же наша кровь... где же наша любовь... только боль одна... слезами залит Молитвослов...

Ах ты, дикая ты, дивная ты моя... полит тобою, кровушка, окоём жнивья... окоём живья... окоём Бытия... нет, ты не жидкая, не жиденькая, нет... здорова ты, густа и святая, исходит от тебя великий красный свет... сочится от тебя в холод красный зной... прожжёшь дымные русла в коре ледяной... юным вином во старых жилах кипишь... кропишь влагой Великую Сушь... заливаешь грозой Великую Тишь... ах, медленная, ах, младая, дразнилка старика... огненная страда... рыба тоска... ножевой закат Севера... таёжный покой... там, вдали, за красной твоея рекой... гладишь мя красной холодной дланью... взрываешь мя алой цыганской сканью... Запад и Север... Юг и Восток... ты, кровь... твой поток глубок... твой поток жесток... тугой твой клубок... ты лихая, кровушка, по земле твоей путь одинок... Твой путь средь людей!.. благородных кровей... мужицких кровей... еловых ветвей... Царская кровь... поповская кровь... крестьянская кровь, твой труд тяжёк, суров... Кровь Рюриков-князей... кровь не зырь-не глазей... кровь в пепел истлей... кровь во братину, братья, налей...



\* \* \*

**(Аввакум и Время. Разговор с Временем)**

**В**ремя, не смейся! Я сей же час хочу говорить с тобой. Кто я такой? Я маленький челове- чишко, может статься, меня-то и на свете нет, а ты есть, время, только ты. Ты... зачем ты, время, существуешь? И зачем мы живём внутри тебя, время? Ты движешься, а всё, што движется, всё, што шевелится, дышит, живёт, помирает, дви- жимо чем-то ищо. А чем, вопрошаю? Кто толка- ет зверя, штобы вылез он из норы? Кто толкает во спину мужика, штобы он взгромоздил на пле- чище косу да пошагал на жаркий сенокос? Бабу, штоб она пошла во хлев и подоила корову? Мы силимся вообразить тебя, время; и не можем. Што ты такое во времени, человеце? Богатства там не ищи, и за наслаждением не рыскай. Зачем ты живёшь во времени, летишь в нём, яко птица, катаешься в нём по земле диким раненым зве- рем? Ты мыслишь, што во пространстве живе- ши, во просторе. Я тоже простор люблю. Я тож во просторе живу. Сей миг руки раскину — и зас- тыну во Белом Поле моём, во просторе засне- женном, в виде Креста Господня. Я один, и мя множество; кровь течёт во мне, пошто она течёт? может, то ты течёшь во мне, время? Ты стре- миться из прошедшево во грядущее; стрелою твоею выстреливает Бог, и Он попадает прямо в сердце. В сердце моём огонь горит; это время моё горит. Огонь горит и сгорает, и обращает всё сущее в пепел; пожрёт и мя, грешново. И я пеп- лом стану. Где вечность? Время, ты всё врёшь, што бывает вечность!

Время, зачем ты хранишь и сохраняешь? Я не хочу сохранения! Я не бирюлька во шкатулке! Я живой колокол гулкий! Я не хочу ни верха, ни низа! Я не хочу ни смерти, ни жизни. Я не хотел быть. Пошто мя родили на свет отец и мать? Есть у каждого живово существа приказ: войти в жизнь. И входим. А опосля живём, а жизнь из нас беззвучно утекает. Вылетает вон тепло. Всё равно што отворить печную заслонку. Внутри мя течёт время; оно умирает внутри мя каждую минуту и каждый краткий миг. Я разглядываю моё бедное время, так наблюдают дно сквозь прозрачную толщу чистой воды. Што есть мгно- вение? миг? малая частица твоя, время; ты ис-

пускаешь лучи, лучи златыми казнящими копьями ударяют мне в лоб, и мя осеняет мысль, и мя захватывают чувства, но я знаю, знаю, время моё, ты безповоротно, тебя не вернуть, ты како поверхность воды, брось в воду камень, и зачнут расходиться круги, но круги никогда не будут сбежаться обратно, а лишь разбежаться, камень утонет в реке, заляжет на дно, ево не отыщешь, ежели нырять, ежели искати, широко отворивши глаза, камень тот, не самоцветный, простой бульжник. Хоть день, хоть год напролёт нырай, а не найдёшь ничевошеньки. Зачем нам идти обрат- нато, когда можно идти вперёд? Боже! Боже! А ежели так охота возвернуться!

Время, што есть твой промежуток? Мгновение ли? Али несчётный, великий эон? Тьма тем тём- ных времён, лишь для единово вдоха; штобы пройти время из конца в конец, нужна такая ма- лость: всево лишь человеческая жизнь.

Што такое тысяща лет? Што есть безконеч- ность? Никогда не узнаем. Не узнаю тово и я. Я ночью выхожу во двор; всюду искрится алмаз- ный снег. Я задираю главу к небесам, уставляю очи во зенит, ветер рвёт мою браду седую, ударя- ет мя в лоб, отвешивает мне пощёчины. Я гляжу, запрокинув лице моё, горит, мерцает углями в печи звёздное небо, и предо мною катится вели- канским Колесом Вселенная, моя Вселенная. Она есть свет и тьма, в ней есть время и безвре- менье, я не могу остановить взором моим бег времён, мой взор суть стрела, пронзает просторы взгляд, два глаза суть две звезды, их видать далёко, с самово Млечново Пути; како я, Авва- кум, зрю звёзды, тако и звёзды зрят мя. Я, Авва- кум, вижу Млечный Путь, звёздные хоры, сия- ние небесново мафория, созвездия, цветы на не- бесных лугах, перекрестия ярких лучей; звёзды клубятся, вспыхивают, загораются, умирают, нарождаются вновь, а я, грешный Аввакум, я уж боле не рожусь никогда.

Я, такой, каков был здесь и ныне, уж не вер- нусь на мою землю. А зачем, скажите, являться сюда ищо раз? Разве вся драгоценность жизни не в том, што ты живёшь на земле только раз-разочек, и боле ты не явишься здесь никогда? Еже- ли ты излучаешь душою свет, ево узрят и чрез ве- ка, и чрез тысящи лет; ежели ты тёмен, яко неп- роглядная ночь, тебя никто никогда не увидит, и ты, бедняга, сам превратишься в ништо и никог-

да. Да што ж такое минута, час, год, век, вечность? Што такое вечный твой поток, время, вечное кружение, вечный круг, годовой круг, вековой ли, Вселенский? Круглое Звёздное Яйцо, а внутри Яйца весь наш Мирь. Круговращение? Кругостремление? Кругопрощение? Круговерть? Кругосмерть?

Кругожизнь. Быстро катим; крепче держись.

Колесо, Колесо. Огромен ево бег. Катится по Звёздному Ковру Колесо бытия.

Небо — тоже Колесо; бег ево неуголим.

Мира тяжкое Колесо раздавит тебя, переедет, родит, омоет кровью, увезёт в Иные Времена.

Жизнь одна.

Нет, не одна.

Здесь и теперь. Господи, я не знаю, што такое здесь и теперь. Может быть, здесь и теперь суть там и тогда. А мы просто веруем в то, што там и тогда стало здесь и теперь. Человек, то раскол между временами. Всяк человек собой раскалывает время. Он есть раскол, разрыв. Он живёт на разрыв. Есть вечная Вселенная, есть смертный человек; а может, всё наоборот: есть вечный человек, и есть Вселенная, што однажды умрёт. Нет войны, но мы все умрём. Мы не воины, но мы все умрём. Время есть Вселенная. Вселенная есть время. Бог есть время, и Вселенная есть Бог. Бог, слышишь мя? Движение небесных тел есть Ты. Ход звёзд вокруг единой Полярной Звезды Ты один устрояешь. Ты считаешь числа и говоришь слова, и воздвигаешь Ты небесные дворцы. А времени, Господи, может быть, и нету. Для времени всегда нужно начало и всегда нужен конец, а Вселенная, разве она началась однажды, разве она не пребывала всегда? Безконечный ход вещей. Безконечная смена радостей и страданий. Безконечность идёт, проходит, умирает и рождается вновь; ведь она безконечность. Круг возобновляет вращение; время повторяет себя. Колесо времени, то чистая вера; мы верим в то, што ничево не закончится никогда. Время, ты число али слово? Ежели слово, то любовь; а может, смерть, тово мы не знаем.

Господи, што такое движение? Вот я сделал шаг. Вот я подъял кулак. А может, мне то лишь кажется. А я остался недвижим; стою на месте. Егда я лягу во гроб, и мя положат в могилу и засыплют землёю, буду ли я завтра, после похорон, безсмертной душою глядети на звёзды, али

то будет делати другой человек, живущий после мя? Время смеётся над нами. Время, не смейся! А ты всё равно смеёшься. Я не могу прервать твой смех. Ты просто часы, песочные часы, тоскливые, равнодушные, бьют по зрачкам стеклянным мутным блеском, и льётся внутри них серый песок, когда я ночь напролёт царапаю пером в моих жёлтых, инда берестяных, инда восковых, толстенных тетрадах. Я ставлю пред собою песочные часы, штобы они напомнили мне о жизни: льётся вода, струится песок, дышит человек. Он вдыхает и выдыхает, он бодрствует и поживает. Всё на земле есть круг. Нашедыхание тож идёт по кругу: вдох-выдох, выдох-вдох. Каждый день мы проживаем, не зная, како ево мы проживём. А может быть, мы севодня умрём. А может быть, мы завтра воскреснем! Мы раскрываем глаза наши навстречу дню, значит, мы глазами целуем время. Мы глазами проклинаяем время, и зрачками нашими ищем то календарное древнее бревно, на коем дедами нашими выбиты глубокие жизни зарубки.

Так мы пытаемся поймати, изловить время. Звёзды движутся, а зарубки не шелохнутся. Ветер парит, летит, ярится, бешанствует, вино во бокал перевитой кровавою струёю льётся, в братину, во жбан трактирный, в Причастия потир, опускают в вино священный хлеб, Тело Господне, и пресуществляется хлеб земной во Святые Дары, и Святые те Дары во лжице золочёной подносит иерей ко дрожащим устам причастников, што исповедь, яко огонь, насквозь прошли. А зарубки, зарубки-то судьбы не двинутся; стоят на месте. Выходит так, время, ты стоишь на месте, а движемся только мы, у каждого из нас своё время, оно принадлежит лишь тебе и боле никому, то твой круг движения возле неугасимово Солнца Вселенной, твой гончарный круг судьбы. Исус Навин остановил во время жестокой битвы Солнце, он смог сие сделать лишь одним диким, в небеса пущенным криком! Навин послал крик в пространство, а Солнце остановилось во времени. Так Исус Навин поборолся со временем, и время ему подчинилось. Он победил время! Но только на миг. Время, не смейся! Ты смеёшься зело белозубо, ты смеёшься зело нагло над нами. А мы всё плачем и плачем, мы слишком крепко связываем тебя, время, нашим

вдоль и поперёк исхоженным пространством; мы можем пройти из конца в конец хоть весь земной простор, но, время, тебя мы никогда насквозь не пройдем, слабы наши ноги для такового похода, и не возьмём мы в тот поход Ангелов в подмогу, и не возьмём мы в тот последний поход друзей наших и братьев, потому как пространство, куда мы идём, есть пространство смерти и есть время смерти. Круговорот! Круговращенье! Кругопожар! Кругомолитва! Нас утешают: вот совершит земля круг... Закрой глаза, а потом открой! Ты же вернёшься! Ты сам есть мера времени. Ты есть мера твоей жизни. Постой, Господи, повремени, тише, молчи, я понял: мера времени — жизнь.

Я согласен быть теми зарубками на брёвнышке дедовом. Я согласен быть птицей и летать во безумном окружении пуль и огней; согласен быть песком, быть льющейся водой; согласен быть маятником, стрелками часов, согласен быть звёздами в ночи, што круг свой совершают возле крепко вбитой в небосвод Звезды Полярной, алмазной. Время, прилив и отлив, медузы морские, мёртвые, оживают на берегу, когда к ним прихлынет вода; пчёлы не летят ко цветам, ибо цветы отдают пчёлам нектар лишь в назначенное Богом время дня. Што есть жар? Што есть холод? Они есть время, ибо они граница жизни. Коли тебя поместить в огонь, ты соришь, жить не сумеешь; ежели тебя бросить во снег, ты замёрзнешь и обратишься в лёд; ты не можешь выжить ни во льду, ни в пламени; границы жизни твоей очерчены крепко и точно. Ты должен жить здесь и теперь, где ты жити можешь. Хрупок человек, слаб! Я всегда считал, што я силён, аки бык, медведь и волк, троица зверья, могучая, но пред мощью Господа я прозрачен и жалок. Не знаю, сколь бы я прожил, ежели бы не на костёр мне завтра. Прожил бы я осьмьдесят годов, сто годов, двести, а Бог весть; Мафусаил вон справил девять веков, да и был таков.

Старец Мафусаил! Да и все пророки, в небеса восхищенные! Кто определил им время жизни их? Ты, Господь? Как же Ты возстанавливал их ослабелые члены, како зажигал их холодную старую кровь? Человек и зверь, все равно склоняют выю под времени ярмо. Сочти время нашей жизни, Господь! Смеёшься над нами: экие

безпомощные мы котята, не можем и повторить Тебя во безсмертии Твоём! Во часах звенят пружины и шестерёнки; то их сознание, стальное разумение; а наше, людское сознание живо и кроваво, не железно, не скрежешет вnutрях волшебново ящика. Мысль — вино, пьянящая брага. Слышу невнятный шум; вижу огни; словно бы дикие чудовища движутся строем и несут пред собою безумные факелы. Како я могу зрети произошедшее в далёком времени? И увидеть, чево не видел никогда? Я вижу то во сне. Сон, моё зеркало; я в тебе, бредовом, всякую ночь отражаюся; и я отражаю сном тебя, время. Время, ты живёшь во покое. Ты спокойно и равнодушно. Я безпокойный! Я рвусь, я мечусь. Потом застываю. Я твоё зеркало. Я падаю, разбиваюсь, а Бог соединяет мои осколки воедино, и я снова могу отразить то, чево отражать нельзя.

Созерцайте мя, людие! Я и человек и зверь, я и память и забвение, я вижу, како я вышел из дому, путник, како пошёл вдаль и вперёд, с котомою за плечьями; тот путник бредёт, а за ним бежит жёнка, и детишки малые еле поспевают. Я иду и иду, я молюсь и молюсь, я знаю, што умру, но всё равно иду и живу; я иду по пространству, прохожу ево насквозь, а время живёт во мне глубоко, тайно и скорбно, и, возможно, я лишь воображаю моё настоящее, оно мне лишь кажется, навроде сна. Мя бьют — мне мнится, што бьют. Мя вздёргивают на висельцу, мя разрывают надвое — мне кажется, што убивают. Я желал бы не помнить ничево. Я хотел бы стать рыбой, лягушкой, воробьём, гибкой змеёй, штобы не знати, как знает человек; но, может быть, рыба, птица, змея, червь, воробей, павлин, грозный волк, страшный лев всё прекрасно знают, што будет с ними. Они знают сие кровью; они знают это всею жизнью. Мир богат и щедро населён живностию, а я один. Мне тоскливо, мне худо во одиночестве моём; как же мне тяжко одному! Вот завёл я во юных летах жену, штобы не умереть с тоски, продолжить, как положено, род; я заимел жену, штобы оживить память, знать: то уж было под Луною, а то, жди, ишо только явится. А я пока тут, вот здесь, нынче, обнимаю жёнку, мою бедняжечку, плачу по прошлому. И тоскую по будущему. Я пока ишо живой, я слишком живой, ибо я помню. Время, не смейся! Ты — память.

Ты память, а я безпамятный. Ты прошлое, а я смерть прошлово. Ты будущее, а я младенец будущеево. Усилия памяти моей обрываются. Силюсь вспомнить то, чево не случилось со мною никогда. Мой народ на наше время, как на гору, взбирается. Он пьёт из будущеево кровь, шtbody жить настоящим. А моя жизнь што? Причюда, видение смутное. Человече, ты лёгкая листьев дрожь, соки, што ходят во древе под короу по весне. Время, владыка памяти. Тихо прянешь, хитро; неслышно. Широко раскрываю глаза. Жена спит рядом. Дети спят тихо. Иной раз младший воскрикнет во сне. Дети не знают, што еси такое ты, время. Разум их спит-почивает. Не ведают, зачем они здесь и куда уйдут. Дети есть след мой в Мире? Нет! Никакой не след. Они — не я. Я не могу назвать их собой, хотя и отчество моё носят они. Я сам по себе. Один. Они сами по себе.

Время, я желал бы, шtbody ты струилось непрерывно. Но прерываешься ты, яко рвётся мысль. Ты умираешь, подобно чувствам. Скоростью ты обладаешь; вот скачет конь, вот трясётся на ухабах телега, вот косят рожь косцы, и возлетают серебряными молниями их острые косы, трава полегает под лезвиями, и серп жнёт рожь, и звёзды восходят в ночи над летней жаркой землёю, и выпадает поутру роса; пора сбора урожая, скрипит года Колесо, годовое счастье, годовой пот, святость праздников и буден, тебя, время, измеряем нашим трудом, и мы не помышляем о тебе, просто живём внутри тебя, и ты прибываешь и убываешь в жилах наших; я догадался, время, ты еси наша кровь.

Нет! Ты огонь. Возжигаети нас, шtbody мы возгоралися живыми свечами и сгорали во имя Божие во незримом храме твоём. Мы всево лишь огненные вспышки. Мы всево лишь свечи, при свете коих надлежит молиться, но молитву возносить при нашем свете будут другие, будущие люди. Я не знаю имён их, не вижу во тьме лиц их; мы, свечи, погаснем, а свет наш останется, повиснет огненным облаком под куполом во плачущем храме.

Глад... мор... землетряс... Кто опишет грядущие страсти? Хвороба косит людей, яко траву. Время, ты вдыхаешь жизнь, а смерть выдыхаешь. Сколь времени проходит между смертью и смертью, между родами и родами? Вот я ро-

бёнок, и в салазках качуся с крутой горы. Вот я близ бабкиной прялки. Жужжит веретено. Дверь печи отверста, и мой батюшка Пётр кладёт в печь дрова. Пламя рвётся вон из печи. Вот мя пытаются, вот мя бьют. Того помнить не надо! Но помню, како мя любили; сие врачует мои раны. Время, может, ты еси Число? Тебя надлежит измерить, исследить, взвесить, сосчитать, дать тебе имя, напечатлеть на гордом лбу твоём корявую цифру: вот сколь тебе лет! Ты свободен, время. И я — свободен. От тебя! Я сам себе хозяин. И Бог один надо мною господин. Ево святая воля. Люблю родных моих. Землю мою. Ея топчу. Она неподвластна тебе, время. Неподвластна, слышишь!

Не расколешь, время, землю мою родную! Нет!

И народ мой надвое не расколешь; народ, он един, яко ты, всевластное.

И, может, время моё, народ и есть подлинный властелин твой; Царь твой.

Да, народ есть великий Царь времени; как я ране не догадался.

В домах ли со крышами и стенами, во срубках ли мы живём? Истинно, живём мы в открытых небесах. Царь Космос владыка наш, царицы-звёзды княгини наши. Древлюю грецкую сказку упомню. Ползёт черепаха, за нею бежит герой Троянский Ахиллес. Черепаха вперёд уползёт, Ахиллес на шагочек приблизится ко твари в костяной кольчужке. Герой вперёд устремляется, а черепаха успела уж уползти! И так состязаются они, бедные; и герой никогда не догонит черепаху. Тако же и мы со временем. Мы бежим, а оно, с виду недвижней черепахи, всё резво ползёт вперёд, и не догонишь. Тёмную ключую ель, человече, во Рожество серебряною позёмкою корми! Ко стопам пророка поверзись да молитву ему горячую вознеси! Полночь, и незримыя звёздочки молочною пылью покрывают морозные смоляные небеса. Мы, людие, всево лишь игрушки на праздничной зимней ели. Мы украшения, наряды, самоцветы на шелках твоих, время. Не можем мы тебя измерить и взвесить, яко у Валтасара на пире. Огненные твои письмена на стене: МЕНЕ, ТЕКЕЛЬ, ФАРЕСЪ. Разве, время, ты наши горькие ночи-дни и наши грешные мысли? Мы вдыхаем тебя. Мы отвергаем тебя. Мы плачем над тобою и обнима-



ем тебя. А вот то, о чём помышляем, ты не видишь, не слышишь. Мы тебе не нужны.

Радуга обнимает летний окоём после грозы; твой знак, время. Показало бы ты нам, время, хоть раз, как является на свет звезда! Как робёнок из бабы родится, то я видел; звёзды сияли всегда, сколь человек землю топчет. Звёзды в небесах горят, дрожат в ночи, и несть им числа. Время, ты ход звёзд! Праотцы наши в волчьих шкурах стояли в ночи, главы задирали, Звёздное Колесо созерцали, ход времени наблюдали слезным смертным оком. Зрели праотцы тебя, Царь Космос великий! Время, есть ли у ты пределы? Есть ли граница, за коей кончаешься ты? Могу ли я воскликнуть: нет времени! али не смогу так сказати никогда? Из причины родится явление. За ударом меча из раны кровь вытекает. А вдруг прежде меча прольётся кровь? Вдруг прежде сева поспеет урожай? Поперёд дождя и жара, прежде снега каковые забытые ветры землю объемят? Замерзнет круговращенье времён: счастье то или горе? Што с нами станется через тысячу лет? Время, разрушу твой чертог! Не видишь, я умираю в нём от тоски!

Разорение, боль, времена смерти; вкушаем их, како с польнью пирог. Дом есть Мирь, мы в нём не сироты. Да холоден наш дом. Покрыто внутри нево всё инея седой пеленою. Дрожим и трясёмся, от голода плачем. Страшно, когда тебя проклинают! Но ищо страшнее проклинать самому. Больно, когда тебя повоюют! Но ищо больнее воевать самому. Мы смеёмся во весь рот, яко скоморохи площадные, а ты, время, слышишь, не смейся! Хочу изъяти тебя из нашей жизни, да не поддаёшься ты изгнанию. Ты же пребудешь в конце, како пребыло в начале. Разве ты настоящее? Может, ты вымысел, разломанная младенческая цацка, глиняная свистулька? Пытаешься нас обмануть! Шепчешь нам в уши: вечен человек!.. а на завтра нас нет, и там, где стояли мы и молились, дышит пустота. Все, што будет, уже было, правду глаголет Екклезиаст! Мы с тобою извечные враги, время! И мы вечные братья! Не подавай мне руки, время. Не надобно. Мы стоим друг пред другом и глядимся друг в друга, яко в зеркало; мы внутри одново яйца. Мы ищо не родились. Мы, ты и я, лишь завтра из огня родимся.

\* \* \*

(Твоею молитвой)

*я ждал Тебя когда Ты придёшь молился я пред образами Твоими возьми мя в руки я Твой потир Твой нож Твой пояс где вышито Твое Пресвятое имя на Тя уповаю да не постыжуся вовек средь Мира одна моя Тебе слава среди войны Твой солдат имярек паду пред Тобой на колена всею державой Ты девочка ясная Ты дитя Ты Матерь Бога моево Ты мать воли я шёл по земле Твое имя твердя умирал с Твоим именем не чуя боли а Ты малюткою подходишь к моему костру к огню военному после битвы и я на Тебя крещусь знаю опять умру а после воскресну Твоею молитвой*

\* \* \* \*

(Аввакум и малютка Богородица у костра в Сибири)

**Я** вышел ночью на снег; звёзды, инда свечи во громадном, немыслимом паникадиле, горели над моею головой. Решил я во снежной ночи разжечь костёр. Удалось то мне: собрал дровишки, ветки сохлые, хворост долго разжигал, дрожь на морозе объяла мя. Кремень впивался в голые пальцы, огниво дрожало в руках. Мёрзли ручонки-то. Надел голицы, снова сдёрнул, кинул на снег; вот наконец запольхал огонь. Огонь, я стал глядети на нево, глядел-глядел, тарасился, и внезапно из огня ко мне вышла девочка.

Девочка, босая, в лёгком платьишке, в тонкой холстине. Я стал стаскивати с себя тулуп, штобы принакрыть ея дрожащие плечики. А сам себе думаю: брежу я, старик Аввакум! то ли браги бродячей, случайной, в мимохожей корчме, улигнувши от тюремщиков, грешно упился, то ли возлежу в ледяном застенке да сплю, умученный, без просыпу! А мне только снится двор, и синий снег, и костёр, и хочу вымолвить слово, а девчушка сия малая остановила мя мановением тоненькой ручонки. И так возговорила: не старайся, отче, не заботься, Аввакуме, мне не холодно! Мне земля твоя под ногами горяча: снежная, безбрежная! А мне и так жарко от костра сердца моево! Как тебя звать-то, дитя, пробормотал я, я сам-то уж сердцем знал, чуял, што она

мне ответит. Глубоко вздохнула девочка да так речет: Мария звать мя, отец мой Иоаким, мать Анна. Тут все волоски на телесах моих и на главе моей бедной восстали дыбом. Неужто Богородица предо мной? и в какую такую небесную награду я ныне созерцаю Ея вечное девство и вечное детство?

Зимняя ночь, сибирская ночь, и посреди Сибири лютой стоит босая девочка Мария на снегу. Платишко Ея холщовое развеивает ночной морозный ветер, ножки босые на морозе краснеют, поджимает Она их под себя, тянет руки к костру, головушку наклонила набок, ровно зимняя птица, на мя пристально глядит. А ты вот, отец Аввакуме, што молчишь? спроси Мя, отвечу тебе. Али онемел твой язык? сердцем тогда спроси, Я услышу. Я закрыл глаза, и предо мною замелькали древние свитки, пергамены, ломкие бумаги, соломенные истлелые папирусы, и вдоль да поперёк испещрили их диковинные, тайные письмена. Сколь Евангелий начертано было на телячьих кожах, на желтеющих от старости тканях, то неспешно, то второпях, смертной человеческой рукой! сколь буквиц возсияло о Господе Боге нашем, о Рождестве Ево на свет! О смерти Ево в муках на Кресте! О Воскресении Ево, да о Матушке Ево Богородице кто нам сполна, любовно поведаёт? много, много наречий земных знают умные люди, мудрецы большие; Святое Евангелие звучало и на сирийском, и на эфиопском, и на грецком, и на языке потомков Урарту, и на иверийском, и на латынском, и на всех языках всех земель, где сходно с нами говорят; во Царстве Болгарском, в Королевстве Чешском, в Речи Посполитой, в нежной Малороссии, што песнями дивными славится, всюду чтут Евангелие и возглашают ево Слово во храмах Божиих. Да храмы, вот горе-беда, передрались меж собою! Кто католик, кто григорианец, кто двуперстием крестится, кто шепотью, а кто и всею ладонью; вражда, вражда! Кирилл, Мефодий, восстаньте из гробов ваших, штобы нас всех в лоне Единого Логоса примирити!

Стоял я на снегу пред девочкой чудесной, глаз с Нея не сводил. Ну, Расскажи, Мария, мне про отца Твоего и Матерь Твою! Каково бытовали они, родители Твои святые, как родили Тя, како лелеяли, как вскормили, вспоили и возрастили? А сам страшно, тёмно молчу про потаённое;

ведь до Благовещения сколь ищю веков должно пройти! Да назад пройти-то али вперёд?! Дрожу дрожмя. Улыбнулась святая девочка, переступила на снегу нагими ножонками. И так возговорила: Иоаким звали батюшку Моево, был богат он, драгоценные Богу дары приносил, да и всё повторял: пускай прибудет от богатства моего радости всему нашему народу, веруйте и молитесь! А мя за добрые деяния Господь Господа вознаградит! И так приносил он дары Господу во храме нашем, и раздавал богатство своё людям. И за то люди, отче Аввакуме, знаешь, сильно любили ево и почитали. И вот однажды нашёлся злой человек, обидел он отца Моево, сказав ему: уйди и не приноси боле дары Богу во храме святом, ибо ты не подарил потомства государству нашему! Обняла скорбь отца Моево Иоакима; не пошёл он ночью к супруге своей, матери будущей Моей, а взял да ушёл в пустыню, сердитый, разбил там шатёр, ночевал в нём, глядел на звёзды, утишал созерцанием дивных многозвёздных небес печаль свою, молился и постился.

А мать Моя в те поры плакала, горько рыдала. Всё твердила: нет детишек у мя, нету, и сокрушаюсь я, ибо старуха я и скоро помру! И муж мой старик, и никово не родили мы с ним во всю жизнь нашу долгую на свет Божий! Нету наследников у нас, продолжателей рода нашево! А тут служанка подошла, тихо спросила: доколе, госпожа, будешь ты терзати слезами бедную душу твою? Нельзя так долго плакать! возрадуйся! И сняла мать Моя тряпицы будние, и украсила расшитой парчовою повязкой свою седую голову, и надела одежды брачные, нарядные, и пошла в сад, вертоград; гуляла там среди дерев, дышала ароматами цветов, колена преклонила и начала молиться: Господи! призри на мя, как призрел ты на престарелую Сару и дал ей младенца! И подняла мать Моя лице своё, и увидела на лавровом древе гнездо воробья; и тут стала опять причитать: о, горе мне, горе, зачем породила мя мать моя на свет! кому же я, бесплодная, нужна! не подобна я птицам небесным, вот у них птенцы во гнезде пищат! Все твари безсловесные дают, Господи, потомство под крылом Твоим! Птицы в небе, звери в лесах, рыбы в водах, раки и крабы морские, миноги и осетры, караси и восьминоги, и индрик-звери, и китоврасы, все живут, все плывут, все вдаль улетают, и

все-все-все, до единово, рождают себе подобных... Слёзы лились по скорбному лику матери Моей Анны, и тут Ангел предстал пред нею и так молвил: не плачь, милая Анна, зачатие ждёт тебя! Родишь дочь, и о ней будут говорить по всей земле и в мирахъ иных! И мать Моя воскликнула: жив Господь мой! И ежели рожу я робѣнка, отдам ево в дар Господу моему!

И возвернулся отец Мой Иоаким из пустыни домой.

И подошёл отец Мой к жене своей, матери Моей Анне, и обнял ея крепко, и шепнул ей на ухо: зачнёшь, жена моя, и родишь! И принёс новые дары Иоаким во храм Господень, и вошёл он к жене своей Анне и был с ней.

Через положенный срок явилась Я на свет. Мать родила Мя и спросила, ково родила. А повивальная бабка прижала палец к губам и молвила: дочь у тебя. Подала повитуха матери моей Мя, и прижала мать моя Мя ко груди, и шепнула: Мария, таково имя Твоё. Отче Аввакуме! Холодно тут, в вашей снежной земле. Заверни Мя в шубу твою, на руки возьми, Я ведь ищю малая. Я подхватил Ея с колючево снега, запахнул в полу тулупа, шагнул поближе к костру, сел у огня и держал Ея на коленях, во тулуп завёрнутую, у себя за пазухой, яко птичку крошечную, а Она смеялась и бормотала: шекотно, и колется, странная шерсть тут у вас овечья, наши овцы в пустые иные, тонкорунные, нежная, яко шёлк дамасский, шерсть у них. Я шептал над Ея головёнкой: Заступница!.. во тончайшие шелка, во теплейшие меха, дай срок, укутаю Тя! Како же Ты росла там, в жаркой стране Твоей? Как все, шептала Она весело, как все! Так и стала расти-возрастати, да ходить научилась рано. Помню, исполнился Мне год, мать спустила Мя с рук и сказала: иди! И Я пошла по каменным плитам, и возвернулась к ней. А отец Мой Иоаким устроил большой пир и созвал мудрецов и старейшин; и они благословили Мя, восклицая: Бог отцов наших, благослови чудесное дитя! Мать подошла. Взяла Мя из рук отца. Унесла с глаз людских, вошла в опочивальню и там грудью кормила Мя. Это был Мой первый пир. А ты угостишь Мя вкусным яством, отче Аввакуме? Абрикосом, али гроздью винограда? Я так люблю виноград! Я глубоко и тяжело вздохнул: не растёт в Сибири виноград.

Я могу, Мария, угостить Тя только куском жареной курицы, курочка есть у мя, несушка, не раз от голодной смерти она нас во дороге да во тюрьме спасала, яичко снесёт, мы и живы, да ничево мне для Тя не жаль, Пречистая, во имя Твоё и славу Твою, Царица Небесная, отрублю я голову птичью да ея ощиплю да зажарю! Могу угостить горбушкой ржаного хлеба, чистой ключевой водицы жбан могу налить, изопьёшь, а то принесут завтра ищю молочка свежево от сибирской рыжей коровушки, вот я Тебе молочка-то и поднесу... согласна до утра подождать? какой тут виноград!.. Ты же видишь, могучие снега вокруг! Девочка вздохнула: да, богато снега тут, земля твоя называется Сибيريا, Я знаю. Ну, спроси Мя ищю о чём-нибудь, Я всё-всё тебе расскажу. Я же всё помню. С самых ранних дней Моих.

Я дрожал, крепче запахивал девочку в тулуп, всё ближе придвигался к огню; языки огненные лизали нас. Я боялся, што тулуп мой возгорится. Звёзды пылали ярко над нашими головами; они тоже слушали, как малютка Богородица рассказывает мне о жизни Своей.

Милая девочка... голос мой дрожал и срывался... я знаю, што, когда Тебе исполнилось три года, тебя повели во храм, ко Господу Твоему. Помнишь ли Ты тот святой поход? И како Ты по крутым ступеням в обитель Бога поднималась? Смех Ея зазвенел звонким колокольцем. Помню, ищю как помню! Рек отец мой Иоаким: служанки наши, непорочные девицы! берите светильники с жиром и стойте со пламенем в руках, пока дитя наше шествует во храм! И так стояли служанки, и пылало пламя у них в горстях. Иоаким и Анна нарядились ярче Солнца ясново, облачили Мя в ярко-алое шёлковое платье и повели во храм. Я подошла близко к лестнице, што вела наверх; высокие ступени, трудно шагать. А Мя Ангел на крыльях перенёс. Лехко подхватил и вверх, вверх нёс Мя на руках, вперёд и вверх; Я не чуюла тела Моево, а чуюла Себя лёхкою, лехче птицы. Вышел священник, погладил Мя по волосам. Положил руку мне на лоб и молвил: девочка! возвеличим имя Твоё во всех родах, и будешь всему народу избавление, исцеление и утешение! За руку подвёл Мя святой отец к жертвеннику. Ярко горел огонь, вот как у нас нынче на снегу горит костёр. Мне стало тепло. Потом

жарко; потом светло. Я закрыла глаза, и будто сотни голубей стали порхать вокруг Мя; тогда я вскочила на ноги, и стала прыгать на месте от радости, и слышала, как внизу кричит народ: славься, славься, Мария, дочь Иоакима и Анны!

Она замолчала. Я тоже молчал. Я представил себе девочку, што ходит по пустому солнечному храму, а потом машет руками и невесомо летает внутри храма, яко голубка, и садится на окошко, што под самым куполом. А в окно влетает Ангел и протягивает девочке амвросию небесную. А я? Што могу я Ей предложить? Только хлеб земной, хлеб грубово помолоа, ржаной; только молоко от сибирской коровушки, ох, бравое, сладкое.

Я шепнул ей в тёплое ушко: Мария, благословенная, хочешь молочка? Совсем скоро ево бабы сердобольные ко мне принесут; может быть, чрез два часа, может, чрез три, когда ночные светила совершат по небу круги и укатятся за окоём. Красная звезда Марс, алая звезда Антарес исчезнут во тьме, и охотник Орион уйдёт ловить зверей на ту сторону жизни, и не узрим мы боле сверкающий меч, што висит у нево на поясе. Час. Два. Три. Видишь, како мы измеряем время. Но для Тебя, Богородица, счастье моё, времени нет. Дождись молочка! Ведь когда ишо Ты появишься в Сибири!

Я весь дрожал, я понимал, мне снится сон, понимал, Ангел коснулся чела моего крылом, штобы я тот благословенный сон въявь увидал... но слишком настоящим было Ея детское тёплое тело, Ея нежное горячее ушко, што высовывалось из-под русых тонких волос, Ея тонкие ручончики, што медленно перебирали овечью шерсть моего старово тулупа, будто хотели заново спрясть. О чём мне, грешному, было спрашивать Матерь Бога моего? сместились времена, я узрел святую девочку, я обнимал взором лице Ея и ласкал благоговейною душою неизреченный свет Ея; грел Ея теплом тулупа и огнём костра, Она была моей малой доченькой, и я, како отец, благословлял Ея; Она шептала мне: отченька, когда вострубит труба Господня и все люди услышат приговор последний, тогда я слечу к ним белой голубкой, а я шептал Ей в ответ: пройдут годы, ты потом полюбишь прясть, улыбаюсь, шепчу: видишь, какая густая шерсть тулупа моего? из шерсти овечьей можно связать прекрасный

хитон, соткать кафтан, тёплую понёву, сваяти шапку, и не будут страшны никакие морозы. Я знаю всё, што будет с Тобой; рассказать Тебе? Она тихо засмеялась: зачем рассказывать Мне это! Я всё тебе сама расскажу, Я прекрасно знаю, што будет потом!

Прижал я холодные пальцы ко рту. Ты знаешь о том, што Сына родишь, Он вырастет, а люди казнят Ево, Ты и это знаешь?

Знаю!

Она смотрела радостно и спокойно, в глазах Ея стояла влага, то ли слёзы радости, то ли слёзы ужаса; вот потекли по щекам, потекли за ворот Ея холщовово платишка и растаяли в густой овечьей шерсти моего старово тулупа. Я знаю всё. И ты знаешь, што я сие знаю. Гляди, как костёр красно горит! Гляди, какая чистота и тишина кругом! Какой прекрасный твой снег, он пылает самоцветами у нас под ногами, и он густо, инда млеко льётся, валит с небес, он падает так, как падают звёзды, ево не остановить, всё тако устроил Господь. Разве мы можем пойти против Нево? мы должны быть согласны с Ним во всё; Он устроил так, што есть снег, Он сделал так, што есть детство, юность, зрелость, казнь, смерть; самое главное на земле, это роды и смерть, рождение и уход, Божья Матерь о каждом человеке, на земле живущем, знает всё, как ежели бы это был Ея робёнок; ты Мой робёнок, отче Аввакуме! И тут Она коснулась нежными тонкими пальчиками моей заросшей брадою щеки и горько прошептала мне: знаю, отче Аввакуме, как ты умрёшь. Вот смотри в костёр; ты умрёшь от огня. Огонь, то твоя кровь; огонь, то твоя судьба. Не отворачивай лице своё от огня, как Сын Мой Исус не отвернул лице Своё от Креста. Крест был назначен Ему. Я малой девочкой знала: рожу Сыночка, а Ево распнут на Кресте. Зачем люди жестоки друг к другу? Злоба живёт в Мире Божиим; жестокость, злоба, ненависть, месть зачем-то Миру нужны; должно, затем, штобы возлюблены были нами любовь, прощение, радость, ласка, чистота. Как научиться прощать? Как научиться любить? Научиться тому невозможно. Ты знаешь, люди рождаются с любовью в сердце; вот Я родилась с любовью, а ты с чем в сердце родился? с огнём? Слушай, што тебе шепчет огонь!

И огонь шептал, и я слушал: я огонь, я наз-



начен вернуться в огонь, я должен сгореть в огне, я должен возлюбить огонь. Огонь мой Крест, мой робёнок огонь, мой отец огонь, мой Господь огонь. Я повторял себе сие как заклинание; я свыкался с таким приговором, ведь мне ево произнесла сама Малютка Богородица; я ищю крепче прижал Ея к себе. Милая, прошептал я Ей, родимая, не замёрзла ли Ты, дитя моё? Давай отнесу Тя в избу да напою кипятком горячим, да съешь холодный блин, што с вечера в миске глиняной лежит, жена моя блины пекла изо ржаной муки! Весело глядела девочка, и я глядел глубоко в Ея глаза, яко во два ледяных озера. Да нет, молвила она тихо, нет-нет, Я не хочу есть. Я хочу только шептаться. Я хочу только вздыхать, глядеть на огонь, хочу согреться, но, ты знаешь, Мне не холодно, звёзды ведь так ярко горят, от них идёт тепло, оно пронзает земли, моря и века. Я скоро уйду, Я уйду вдаль по снегу, давай Я напоследок тебе песню спою, песня, это лучше, чем молоко от рыжей коровушки, она сама льётся как молоко, она очень сладкая и белая-белая, как зима, ты знаешь, Я очень люблю петь, когда родится мой Младенчик, Я буду всё время петь Ему песни. Пусть Он растёт под музыку Мою! А ищю Я буду кормить Ево грудью; так весело, когда робёночек твой прижимается ко груди. А ищю Я буду играть с Ним во всякие игры и мастерить Ему разные игрушки, мы будем вешать их на зимнее древо, на кедр ливанский, ароматный, тёмно-зелёный, а верхушку кедра украшать золотою короной; тот кедр будет наш Царь Космос, и мы будем водить округ нево хороводы, петь гимны и славословия. Отче Аввакуме, што ты умолк? Неправду разве Я говорю?

По моему лицу текли слёзы, я впивал каждое слово Малютки Богородицы, я знал, Она боле не придёт никогда, и я благословлял тебя, безжалостное время, за то, што ты подарило мне Ея.

Малютка Богородица, Тебя нынче ввели во храм Смерти и Жизни. Зачем ты в Сибири? Зачем я с Тобой? Зачем костёр во снежном дворе, небо во сверкающем серебре? Дрожу немою солёной губой, ничево не сказать, ничево не понять, лишь нежно плакать, лишь любить и страдать.

\* \* \*

### (я и Настоящее. Ужас нынешнего Раскола)

*Мы хотим вернуться к тому, что было. В то, что было. В старинный уклад. В крепость традиции и обряда. Мы точно, точнёхонько хотим повторить веру отцов.*

*Но мы забываем о том, что мы — всецело новые. Дети новые на свет народились. И не кости-мясо у народа новые: новый сам дух, и не обязательно, что дух этот — благодать, счастье и верный путь. Может, мы идём не туда! А куда? Куда?!*

*Если бы знать...*

*Раскалывается Земля. С ног на голову встаёт бедная маленькая планета. Страны изогались, земли заврались. Мы хотим старины — а получаем свежую опасность. Мы желаем мечты — а на деле выходит мрачная жестокость. Что случится? Что не случится? Мы теперь понимаем: на земле ничего от нас не зависит. Человечество стремительно бежит к обрыву, земля шатается под ногами, вулкан гудит и плюётся огнём; мы орём, и друг друга не слышим; мы лезем всё выше; мы вот-вот в пропасть сорвёмся, и лучшие из нас понимают — раздваивается Мирь, надрывается в крике, мелькают людские, звериные лики, летят в небесах смерды, владыки... ты только родился на свет, а тебя уж мечом разрубили! А ты Бога своего хотел зреть во славе и силе!*

*Ты властвуешь? Вот тебе: ты теперь раб! Ты богат?! Гляди: ты нищ, жалок и слаб! Ты внутри Раскола — всего лишь Иов, при дороге жалобно тянешь выю. Руки нагие! Ноги нагие! Харя нагая! Мы лишились любви. Мы утратой богаты. Мы расколоты приговором небес, последней расплатой. Мы всё проели-пропили. Мы всё потеряли. А всё мечтаем: в конце ли... в начале... Конец и начало едины. Расколоть их! Они — непобедимы?! Нам нужна на вечность опора. А вечности нет. Есть лишь трубный глас: уже при дверях... скоро... скоро...*

*Разделение: на людей и нелюдей. Расслоение: на тех, кто вверху, и тех, кто внизу. На живущих кратко и живущих долго, может быть, вечно. На тех, кому ты на подносе принесёшь изысканные яства — и на тех, кому швырнёшь*

обглоданную кость. Расчлени человечество на царства разных богов! И увидишь, что будет. Война одного бога против другого. Только руками людей. Для своего бога человек чуждой крови никогда не пожалеет.

Раздели единую землю на сусеки: в этом сусеке — драгоценные металлы, в том — хлеб, манго, капуста, дойные коровы, а вон в том — дикие снега и льды, далеко ли тут до беды. Отдай мне сусек! Я никогда не ел манго. Я никогда не пил такого вкусного, сладкого молока. Оно — моё! Твои коровы — мои!

Нет! Не дам! Они — мои!

Нет, мои! Я их к себе в стойло уведу! Пусть мычат! Послушаешь издали! Такая теперь у нас переключка! Через Раскол! Через войну!

Война! Война!

Чтобы ты на меня первым не напал, я на тебя нападу — первым!

Так я землю свою — от тебя — защищу!

Мы стараемся друг друга обогнать. Если раньше — плечом к плечу, если прежде — на площадь вместе, и вместе в бой, и одной живы судьбой, то теперь — кто сильнее, кто наглее, кто быстрее кого победит! Кто у кого быстрее кусок, мысль, знания, тайну из-под носа украдёт, сам к себе живенько приспособит да выдаст за своё: глядите, люди, какая круча, какая высоченная гора, я первым влез, мне — медаль, меня уважьте, да туда, куда я взобрался, не лезьте, сюда — нельзя! Это, вот это — только моё!

Я. Мне. Моё. Мы спятили на присвоении.

Бери-отдай! Круча-низина! Можно-нельзя!

Мы сами изобрели себе кучу запретов. Высовываем друг другу языки, нахально дразня. Глушимся над святым. Искажаем единственное. Оплёвываем драгоценное.

Мы раскололись на карателей и казнимых.

Навек — раскололись.

В толпе бабы плачут в голос.

А толку что плакать? Все, кто врёт, так врать и будут. Среди люда и блуда не случится великого чуда.

А ведь ты мой народ! Ты моё счастье! Как же ты раскололся, любимый! Или это раскололи тебя? Кто? Покажи мне. Укажи! Я убью его!

Вот оно! Последний приказ — убить.

Увидишь врага — убей! Увидишь обман — коли! Хоть поперёк земли! Вблизи и вдали!

Мы раскололись. На врачей и палачей. На лютых катов и узников заклётых. А впрочем, мы такими были всегда. Вот те, кто правит. Вот жалкие слуги. Провинятся — их не берут на поруки. В тюрьму — на года. На века. Жизнь мала. А смерть велика. Хозяева и работники; таков жизни закон. Против него не попрёшь. Едва вышел ты из пелён — либо ты Царь, либо холоп. Либо в усыпальнице Царской почиешь, либо сколотят из горбылей тебе жалкий гроб. Каков ты на земле жил, означает лишь смерть: перечить ей не посметь. Либо завернут в богатую плащаницу, либо из грязной лужи напиток. Третьего не дано. В небеса хлопнут окно.

Мы раскололись на презирающих и презренных. На волну и пену. На изменяемых и неизменных. На чистых и растленных. На вечных и бранных. И так будет до седьмого колена! Создаётся новая летопись Мира Раскола. Земля встанет перед нами окровавленной, обожжённой, раненой, голой. Мы рисуем её красками, грязью, кровью, углями. Мы не знаем, что там завтра будет с нами.

Отче Аввакуме, ты-то не знаешь, кто такие дети индиго. Пожатые руки, сияние лика. Они достигают небесных высот. Они взглядом растапливают лёд. Они предсказывают, кто когда умрёт. Они переходят океаны вброд. Они читают мысли на расстоянии, не хуже сброданьяни. Может быть, я тоже полоумное дитя индиго! Не заслоняй мне Солнце... отойди-ка...

Мы раскололись на умных и сумасшедших. А умные-то безумней самых больных. Мы плачем над жизнью прошедшей, твердим безголовый полоумный стих. Мы, завывая, со сцены стихами плачем, стихами умалишённо проклиная врага! Картины малюем кровью горячей, поскольку до смерти — четыре шага... Безумно дарим, щедро! Безумно клянёмся! Безумно, нагло, прилюдно крадём... Безумно пихаем весь Мирь в котомку — под жалящим снегом, под колючим дождём...

А может, Раскол — это для тех, кто из ума смело вышел и к Богу ушёл? И сумасшествие Мира — то Богородичная нежность, судьбе покорность, а мы, люди, у Бога в горсти лишь зёрна? И будущее, будущее из нас прорастёт... из нас, безумцев, чей в вопле скошен рот...

Раскол — смещение времён. Раскол — длин-

*ный, тягучий стон. Разорванное объятие мужей и жён. На этом берегу — ты всё чувствуешь. На том — не чувствуешь ничего. Ни любви. Ни воли. Ни искусства. Ни поля спелой ржи. Лишь колкое жнитво.*

*Мы раскололись: на юность и старость. Старость, зри, никому не нужна. Старость, она одна осталась, одна-единственная, в жизнь влюблена. У юности вместо жизни — манекен без белья; голое, завистливое чучело бытия. Не нужны рабочие руки. Нужен холодный металл. Старость — с Миромь разлука: он от стариков устал. Кто ты? Работник, тунелюдец, лодырь? Отсортируем тебя: туда иди! Земля дряхлеет год от года. Спит, беззубая, с кошкою на груди. Мы тебя выгнали! Куда тебе податься? А куда хочешь! Не примут нигде. Только смерть обнимет. У неё свои Святыцы. У неё свои Святки, кровавые, дымные, смоляные колядки во снежной борозде.*

*Мы раскололись: на свиней в загонах. На рабочих Духа, ему же пределов нет. Одни богатство гребут вагонами. Другие лелеют горный свет. Какая она будет, жизнь наша грядущая? Какой станет будущая Земля? Я не верю, что — чище. Не верю, что — лучше. Пусть летит, улетает, звездами пыля. Пусть летит, и кричит, и вопит, и стонет, и нас на себе, оголтелых, несёт: мы за нею летим в ночи — за собой в погоне, в зимней короне, и шуба — лёд, и глаза горят в темноте кострами, и мы ещё верим, потеряно не всё, и мы никто не знаем, что там случится с нами, куда медленно, важно катится Звёздное Колесо.*

*И это накрыт наш стол. И нынче пирушка.*

*И это нашей судьбы острый, кремень-огниво, скол.*

*И это наш Раскол. Как больно. Как душно.*

*Как страшно, что к нам на пир наш Господь не пришёл.*

\* \* \*

#### (Аввакум и я. Пение псалмов)

— **М**илый отец мой, последние псалмы — поём! возри на жизнь мою. Я не исповедовалась никому, обнажать себя ведь очень трудно, но я, как пред зеркалом, пред

тобой стою. А правдой мя, убогую, смиренную и нищую, не накормити, не вознаградить; я Адскую ложь за святую Правду многожды принимала, а мя под видом правды всё кормили-кормили враньём. Нынче мы с тобою опять вдвоём. И вместе поём. Не разумею я, как жить на земле. Я страшно грешила во весь ход по земле бедной жизни моей; я грешница великая. Ежели можешь, выслушай мя, отче дорогой мой, блаженный, родимый; попытайся, великий отче, простить мне грехи мои.

— Боже, Господи Сил, кто уподобится Тебе? Доченька моя, смело поверяй мне всё, што мучит тя, што огнём пылает в тебе! огонь может стать лекарем твоим, но не должна ты пред огнём лукавить и хитрить. Открывай мне, мне единому шкатулку жизни твоея, крепко запечатанный сундук судьбы твоея, тот кувшин, густо залепленный воском, где ты всю жизнь хранила твою самую неистовую боль, самое смертельное страдание твоё. Страдание ищет выхода; так ищет выхода из земли вода и бьёт ключом. Исток реки рождается, иди по теченью ручья, што дальше? сие есть дорога времён. Ты предо мною, как лист пред травой; ты, дитя моё, предо мною, как пред лицом ветра; ты предо мною смертная, как пред временем. А мы с тобою оба пред Богом, пред великой огненной вечностью Ево. Сгорят века, свернутся в свиток времена, погибнут поколения и народы, а Господь останется, и люди всё так же будут стоять пред лицом Ево, плача и моляся.

— Приклони, отец, ко мне ухо твоё, услышь исповедь мою, тяжело мне было жить на земле, в последний раз открываю я живому человеку сердце моё. Я в детстве и юности моя слышала много слов о Боге, но я не верила в Нево, я не могла ощутить Ево. Разрушали храмы, святые Божии дома; люди рождались и умирали. Я видела то, я училась великому искусству молчать и слушать, и великому искусству музыки. Я слышала правдивые и лживые слова, я многожды любила: людей жалких и недостойных, людей высоких и достойных, а они не понимали мя, они шли мимо, сначала приближали мя к себе, а потом отталкивали грубо и страшно, и падала я лицом в грязь, я не

знала пути, я лила реки слёз, ежели все слёзы мои собрать в вёдра, этою влагой можно полить и взрастить целый сад, но то не будет Эдемский, Райский Сад, то будет Сад Слёз. Не дай, Господи, сады слёз рассадить по всея земле; должны расти и цвести сады радости, безумные, весело пляшущие на ветру сады счастья. Я всё время была в пути, я путницей, паломницей пред небом предстояла, я шла, сбивая ноги в кровь, я падала и поднималась, я глядела по сторонам, а потом не глядела, и однажды ко мне пришёл Господь, Он пришёл ко мне так же, как ко грешнику Савлу, язычнику и убийце, пришёл Господь в пустыне, и злой Савл обратился в Апостола Павла. Я помню Свет, я помню блаженство. Я помню, нескончаемо слёзы лились по лицу моему. Слёзы любви, я впервые полюбила, и любовью моею, отченька Аввакуме, стал Господь Бог. Да услышат исповедь мою все ненавидящие меня, да поймут исповедь мою все любящие меня.

— Бог, детонька, твой Покров, Бог твоя речь, один Господь весь твой народ. Я понимаю тебя: ты всю жизнь была одинока. Ты всю жизнь искала любви и взыскала Бога, ты закидывала лик твой и очи устремляла в небеса, там искала Бога твоего среди туч, там искала любовь твою. И што же? На пути множество людей, а любимый только один; на пути много зверей, а в Райском Саду обнимешь ты только хищного Льва одного, и поцелуешь ево во морду, и широкую лапу ево ко груди прижмёши, и протянешь руку, и птичка колибри слетит из зелёно-изумрудных ветвей и сядет на твой палец, крепко вцепившись в живую плоть твою острыми коготками, а соловьи округ запоют, яко Серафимы, и золотые мандарины воссияют сквозь тёмную листву. Неужто так выглядит счастье да любовь? да, любовь суть плоды, листья свежие, живые, да, любовь суть корни, што уходят глубоко в землю, питаюсь ея соками; и любовь суть звёзды над твоею головой; хоть и грешила ты, а звёзды из виду не выпускала, оченьки твои ночами в чёрное небо устремляла, где, рассыпанный щедрыми горстями, горел во тьме Божий светящийся жемчуг. Ты сама не знала, как сильно ты веруешь. Ты молилась молча, без мыслей, лишь слезами.

Молитва твоя не в слова переливалась, а в музыку, и так на земле в виде музыки великой являлось спасение твоё.

— Хочешь ли ты услышать, отец мой Аввакум, как я шла дальше, как я жила бедно, сурово и жалко, прибывалась к людям чужим, ночевала в сараях и вертепах, повторяла за людьми непотребные песни их, исполняла нечестивые приказы их, потеряла блаженство детсково Рая, и горькие слёзы, инда дождь ненастный, лила по небесной забытой чистоте? Поверь anew в Мирь ясный и радостный, шептала я сама себе, рыдая; понимала я не умом, а сердцем: самое большое счастье на свете — радоваться. Я сама себе говорила: радуйся, радуйся! дивны горы лесистые, дивны воды морские, дивен в небесах Господь! Я пыталась увидеть Господа моего во сне, но вместо Нево во сне моём я видала войну, пожары, убийства, крики, кровь; кровь лилася во снах моих или уж наяву, я не знала тово, я просыпалась в поту, а мыслила так, што в крови лежу, вскакивала, вопила заполошно, орала, будила визгом моим и отчаянием моим рядом спящих людей, выбегала на улицу в рубахе ночной, бежала по ночному граду, куда глаза глядят, сходила с ума от тово, што кровь людская и звериная, вся кровь земли хищно и солёно обнимала мя, крутилась красными водоворотами вокруг быстрых ног моих. А я-то хотела славу Господу петь! А я-то хотела в Райском Саду под деревом сидеть, очищать мандарин от золотой горькой шкурки и Богу молиться: ведь Он один! Кровь текла, обтекала мя, яко остров. Я шла дальше, по шиколотку, по колено в крови. Войны земные захлестывали кровью мя, кровь пела в жилах моих, гудела в ушах моих, бросалась под ноги мне, умоляя мя о том, чево я ей, крови живой, дать не могла. Кто будет судить Вселенную верой и правдой? Кто будет кровавую землю судить? Только Бог Господь наш. Но где же Он? Где ты, где ты, где ты, любовь?

— Пой Господу песню, доченька моя! Пой вместе со мной, плачь вместе со мной, будем плакать вместе, будем вместе горе мы терпеть, будем вместе по жарким и выюжным дорогам идти, велик Господь, и хвалят Ево зело все на-



роды на земле, имя Ево на разные лады повторяют, повторяй и ты, приноси Богу нашему славу и честь, входя во двory чужих людей, крести лоб и желай людям, тобою не знаемым, счастья и радости. Колядуй от всея души! Да не только во Святки! А всякий день и час! Бешано, безумно колядуй! Не бойся в Мире юродивою стать! Юродивый — Божий. Юродивый — счастлив. Радость и счастье, счастье и свет, лишь таково можно желати и родимому-кровному, и врагу злосердому; и тому, кто навеки остался во далёком прошлом; и тому, кто ищю придёт. Да возвеселится небеса о Боге! Да возрадуется земля о Нём! Да будут волны морские в честь Господа упоённо плясать! А мы с тобою, доченька, поднимем руки к небесам грозным ли, ясным и увидим, как там, широко раскинув крылья, Ангел Господень летит, и он, сам-третей, вместе с нами, хвалебную песнь Богу поёт.

— Батюшко Аввакуме! я стыдилась всево, я стеснялась всево, я боялась людей. Мне казалось: за всё, што я делаю на земле, они однажды растерзают меня. Я старалась избегать толпы и людских сборищ, я полюбила одиночество, я полюбила петь одна, и штобы только я сама слышала себя, а ныне, ныне я громко пою, я по дорогам иду, вольно раскинув руки, и слышит мя всяк человек, и кто плюёт мне вослед, кто камень швыряет мне в спину, кто цветы бросает под ноги мне, кто глумится, скалится, пальцем тычет в мя, позоря и насмехаясь, а кто подбегает и крепко, жарко обнимает мя и шепчет мне на ухо: благодарю тебя, непонятная, странная женщина! ты нам чужая. Мы в нашей земле не знаем тебя, но так ты поёшь, што сердце взыграло, так поёшь, што звёзды в небесах танцуют! Так ты поёшь, што рождается на свет Божий неведомый огонь; огонь разливается по рекам, горит под крышами, сияет в ночных небесах, лодьи плывут по реке, на них-то уже горят огни, огненные цветы плывут по течению, пламенем пылают, огонь, везде огонь чист и прекрасен. Разве может быть огонь знаком смерти и казни лютой? Веселитесь, праведники! песни, танцы и огни, Господи, то единственное веселие наших сердец, моево бедново сердца. Песнями, танцами и огнями изо всех сил обнимем нашу любовь.

— Зачем ты страдаешь, дитя моё? Ответь мне: зачем ты страдаешь? Вот я страдаю, да, то мука мученическая, когда бьют тя, поносят тя, бичуют тя, яко Христа на Голгофе. Яко дым, исчезают дни наши. Исчезнет всё, истлеет сердце твоё любящее во гробе, во сырой земле; развеет прах твой ветер пустынный, над костями твоими возлетят чёрные вороны, и сквозь останки твои прорастут упрямые травы и злаки, и пролягут ручьи и реки чрез землю, где ты похоронен. А разве не всё на свете преидёт? так зачем же плакати о боли своей? Плачь о тех, кто придёт после тебя. Пусть иные народы Господа убоятся. Пусть иные земные царства перед Богом склонятся, встанут на колена, поднимут руки, вскинут очи свои к небесам и воскликнут отчаянно: приди к нам, неразумным, наш Господь, спаси нас! А исповедь твоя, дочь моя, в сердце моём теперь навсегда, но не открыла мне ты, што же теперь-то деемся с тобою, где пребываешь ты, в Боге или без Бога, на земле или на небе, нагая или закутанная в плотные пелены и шали, в одежду, сквозь кою взгляд человека и казнящий зимний ветер никогда не проникнут. Што завтра будет с тобою, о том ты не знаешь; што севодня происходит с тобой, я сам вижу.

— Нет мне жизни без Господа. И нет мне жизни без тебя, отченька мой Аввакуме. Неоглядный Мирь твой, необратный путь твой. Зачем пропал ты во времени? Зачем ветер бороду твою развеивает и треплет седые власы, и мысленно я всё иду, иду за тобою по льду, по снегу, босая, гляжу тебе в спину. Молчишь. Ну и молчи, твержу себе. Молю, штобы ты обернулся, а ты всё идёшь вперёд и вперёд без остановки, нету тебе преграды, есть только путь, и больше нету ничево, и я иду за тобой. Вот исповедь моя: я грешна. Но рядом с тобой я чиста. Я несчастна, но я счастливая рядом с тобой. Прими мя такую, какая я есть; в том благословение, в том великая радость Господня.

— Готово ли сердце твоё, дитя моё? Моё сердце готово, воспоём на два голоса Господа Бога нашево. Славься, Господь наш! Звените, гусли! встанем рано, пустимся в путь, исповедуемся

Тебе средь людей, исповедуемся среди зверей и лесов густых, на речном берегу пред рыбами, што ходят в толще воды златыми щитами и серебряными стрелами. Пусть родится двойня, песня наша. Лети, песня, на небеса, и пусть по всей земле разольются слова наши совместные; обними, песня наша, нас, двух возлюбленных Господа! Я возлюбил тя, дитя моё, а ты возлюбила мя. Сие ли не счастье на земле! Сие ли не радость свыше! Тигр и Евфрат, Волга и Дон, Обь и Енисей, Каспий и Байкал, сколь рек и морей на земле, столь воды выпивает синее небо, исполненное жажды; и любовь та же жажда: сколь ни пей, всё одно не напьёшься. Мы порою избиты, гонимы, непоняты, о судьбине нашей одиноко возплачем, иноплеменники в народе своём; мы порою родня всем народам чужим. Да выходит нам навстречь наш родимый народ, и празднично, счастливо входим мы в нево, яко во небесный чертог; и обнимает нас народ наш, к сердцу всяк человек во тёплой толпе прижимает, с нами плачет-рыдает, с нами смеётся и пляшет, и мы обнимаем весь наш народ душою нашею, яко единово Бога. Объятие человека и Бога! Объятие человека и наро-

да! Ничего нет крепче. Ничего нет святее и выше. Мы едины с родимой землёй, мы с Родиной нашей едины. Господа не затопчешь, Господа не замажешь грязью, не извратишь Ево словеса святые, Он не отринет нас единственно за то, што мы до конца, до последнево огня веруем в Нево. Дай нам, Господи, помощь во скорбях наших. Лишь о Тебе сотворим мы песню. Да разыдутся враги наши, и поднимется дым страданий наших, яко святой фимиам в память героев, ко звёздам небесным, Ангелам крылатым, и да простят нас Ангелы Божии, нас, грешников великих, ибо, во искупление грехов, научились мы Божию песню петь, Божии слова слагать, Божию мудрость нашею кровью безсмертно, навек рисовати на пергамене смертново времени; вот оно, наше последнее счастье пред огненным нашим порогом.

*Окончание следует*

### **Елена Николаевна КРЮКОВА**

*родилась в Самаре.*

*Поэт, прозаик, культуролог.*

*Окончила Московскую государственную консерваторию*

*и Литературный институт им. Горького.*

*Член Союза писателей России, Творческого Союза художников России,*

*Издательского совета Русской Православной Церкви.*

*Лауреат премии им. М. И. Цветаевой (2010),*

*Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь»*

*(2014, 2016, 2019, 2021), международных литературных премий*

*им. И. А. Гончарова (2015), им. А. И. Куприна (2016),*

*им. Э. Хемингуэя (2017, Канада), Южно-Уральской премии (2017),*

*премии им. С. Т. Аксакова (2019), премии им. Ф. И. Тютчева (2020),*

*премии журнала «Север» (2020), премии им. Н. Н. Благова (2021),*

*премии им. С. Сергеева-Ценского (2021) и др.*

*Публикуется в литературных журналах России*

*и стран мира (Франция, Германия, Болгария, США, Канада).*

*Создатель авторского «Театра Елены Крюковой».*

